Антология Сатиры и Юмора России XX века

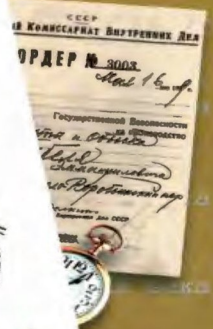




Исаак Бабель









Исаак Бабель

Исаак Эммануилович Бабель

Аннотация
ИСААК БАБЕЛЬ
Примечания
Предисловие. Бенедикт САРНОВ. ПОД ЗВОН КАВАЛЕРИЙСКИХ САБЕЛЬ
Автобиография
ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ
  Король
  Как это делалось в Одессе
  Отец
  Любка Казак
ИЗ «КОНАРМИИ»
  Письмо
  Начальник конзапаса
  Мой первый гусь
  Комбриг два
  Жизнеописание Павличенки,. Матвея Родионыча
  История одной лошади
  Конкин
  Соль
  Вечер

Афонька Бида
Эскадронный Трунов
Иваны
Продолжение истории одной лошади
Измена
Чесники
После боя
Аргамак
Поцелуй
РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
Девять
Одесса
Вдохновение
Справедливость в скобках
Линия и цвет
У батьки нашего Махно
Иисусов грех
История моей голубятни
Первая любовь
Карл Янкель
Пробуждение
В подвале
Гапа Гужва
Конец богадельни
Дорога
Гюи де Мопассан

Улица Данте
Ди Грассо
Суд
Мой первый гонорар
Фроим Грач
Закат
ЗАКАТ. (пьеса)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Первая сцена
Вторая сцена
Третья сцена
Четвертая сцена
Пятая сцена
Шестая сцена
Седьмая сцена
Восьмая сцена
ОЧЕРКИ
В Одессе каждый юноша...
Начало
Битые
Я задним стоял
Беседа «О творческом пути писателя»
ПИСЬМА. ДОКУМЕНТЫ
А. Г. Слоним
В редакцию газеты «Красный Кавалерист»
В редакцию журнала «Октябрь»

М. Горькому
Д. А. ФУРМАНОВУ
В. Б. Сосинскому
И. Л. Лившицу
В. П. Полонскому
М. Горькому
М. Горькому
И. Л. Лившицу
Л. В. Никулину
М. Горькому
Ф. А. Бабель
В. П. Полонскому
Л. В. Никулину
В. П. Полонскому
В. П. Полонскому
В. П. Полонскому
В. П. Полонскому
В. П. Полонскому
В. П. Полонскому
Ф. А. Бабель
С. М. Михоэлсу
Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой
Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой
Ф. А. Бабель
Л. Г. Багрицкой
Ф. В. Бабель

Ф. А. Бабель

Ф. А. Бабель

Спецсообщение секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР. «О ходе всесоюзного съезда советских писателей»

Справка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР об откликах литераторов и работиков искусства на статьи в газете «Правда» о композиторе Д. Д. Шостаковиче

Донесение 1-го отделения секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях И. В. Бабеля в связи с арестами бывших оппозиционеров

Сводка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях И. Э. Бабеля в связи с завершением процесса так называемого. «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»

Из показаний Бабеля на следствии

Прокурору СССР. 5 ноября 1939

Прокурору СССР. 21 ноября 1939

Прокурору СССР. 2 января 1940

Председателю Военной коллегии Верховного суда СССР

Протокол судебного заседания Военной коллегии Верховного суда СССР

ПРИГОВОР
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ
С. Гехт. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года
Ф. Левин. Первое впечатление
Г. Мунблит. Из воспоминаний
Кирилл Левин. Из давних встреч
ИЗ УСТНЫХ РАССКАЗОВ О БАБЕЛЕ
Дорожка испорчена
Он мне не понравился
На всякого мудреца…
Из воспоминании жены. Антонина Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO

Аннотация

Мегапроект «Антология сатиры и юмора России XX века» — первая попытка собрать воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия.



В добрый с этим человеком
«договор» мой текст.

11. VIII 80.

Антология Сатиры и Юмора России XX века

ИСААК БАБЕЛЬ

Москва «ЭКСМО» 2005

*

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Исаак Бабель

Серия основана в 2000 году

С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

*

Редколлегия:
Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков,
Лев Новоженов, Бенедикт Орнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн обложки Ахмед Мусин

Главный составитель тома Бенедикт Сарнов

© И. Э. Бабель. Наследники, 2005
© Ю. Н. Кушак, составление, 2005
© Б. М. Сарнов, предисловие, составление,
комментарии
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

Примечания

Художественное наследие Бабеля невелико. Писал он медленно, трудно. Подолгу молчал.

В 30-е годы эти его долгие паузы были притчей во языцех. За творческую пассивность его резко критиковали — и в печати, и с трибуны Первого писательского съезда.

На этом съезде от критических нападок такого толка Бабеля пытался защитить Эренбург.

«Нельзя, — говорил он в своем выступлении, — подходить к работе писателя с меркой строительных темпов. Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит как крольчиха, но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, нежели крольчихи… Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало… я чувствую, что не все у нас понимают Существо художественной работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно. Это не достоинство и не Порок — это свойство, и нелепо трактовать таких писателей как лодырей или как художников, уже опустошенных»; (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стено-

графический отчет. М., 1934, с. 1843).

Защита не помогла. Нападки продолжались, все чаще принимая характер политического доноса. Не случайно, когда Бабель был арестован, на первом же допросе на вопрос, как он полагает, за что его арестовали, он ответил так:

«Я считаю свой арест результатом рокового для меня стечения обстоятельств и следствием моей творческой бесплодности за последние годы, в результате которой в печати за последние годы не появилось ни одного достаточно значительного моего произведения, что могло быть расценено как саботаж и нежелание писать в советских условиях». (Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с. 49.)

Если к этому добавить, что работал Бабель в жанре короткого рассказа и что творческий путь его был насильственно оборван за два месяца до того, как ему исполнилось сорок пять лет, не придется удивляться, что почти все им написанное может уместиться в одну книгу.

Но эта книга — особого рода. И за пределами этого издания осталось многое.

Однако я все же счел нужным включить в него и некоторые письма Бабеля, отобрав те, в которых затрагиваются жизненно важные для писате-

ля — общественные или творческие — темы. А также счел необходимым включить в наш том некоторые документы — из тех, что стали известны лишь в самые последние годы: политические доносы осведомителей, протоколы допросов, протокол судебного заседания, приговорившего писателя к «высшей мере уголовного наказания», и сам текст приговора.

И, наконец, последнее. Какие тексты писателя следует считать каноническими? На какие издания (самые ранние или самые поздние) следует ориентироваться текстологу, готовя очередное переиздание писателя?

Не раз уже говорилось, что узаконенный принцип работы текстолога над художественным текстом, согласно которому при выборе окончательного (канонического) варианта решающую роль должна играть последняя воля автора, выраженная в последнем прижизненном издании, — в высшей степени сомнителен. А в применении к текстам писателей, работа которых пришлась на советскую эпоху, и вовсе не годится. То есть сам по себе этот принцип, может быть, и хорош, но, как любят говорить герои искандеровского «Козлотура», — «не для нашего климата».

В отношении Бабеля, однако, утвердилась

точка зрения, согласно которой более поздние прижизненные издания Бабеля если даже и несут порой на себе следы вмешательства цензора в авторский текст, то вмешательство это было не слишком существенным. Ну разве только в нескольких случаях вымарывалось имя Троцкого, что вряд ли можно рассматривать как нанесение существенного урона художественной ткани произведения.

В некоторых случаях урон был действительно невелик.

Но вот в рассказе «Соль» из-за того же Троцкого во всех поздних изданиях регулярно изымался такой текст:

«— … вы жидов Ленина и Троцкого спасаете…

— …Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягивают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни…»

А в рассказе «Линия и цвет», когда он был впервые у нас опубликован, беспощадно отсекли финал:

«Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим

никакой надежды:

— Товарищи и братья…»

Казалось бы, пустяк. Одна фраза. Но без этой финальной фразы рассказа нет. Он убит. Законченное и в своем роде совершенное художественное произведение превратилось в не слишком осмысленную, хотя и яркую, как всегда у Бабеля, зарисовку.

Это всё примеры цензуры политической. Но была ведь у нас еще и цензура нравов, и разнообразные эстетические табу. И туг проза Бабеля заставляла бдительного цензора (или редактора) делать стойку, пожалуй, даже чаще, чем его вынуждали к этому недостаточно стерильные в политическом смысле фразы и абзацы.

Тщательно изымались натуралистические подробности, в первую очередь все мало-мальски откровенные прикосновения к сексуальной сфере, без чего Бабель — уже не Бабель или, во всяком случае, не совсем Бабель.

Надо сказать, что далеко не все купюры могут быть объяснены бдительным вмешательством цензора или редактора. Некоторые из них наверняка принадлежат самому Бабелю. Это относится к тем случаям, когда из текста изымались разного рода выспренности, красивости.

Вряд ли мы ошибемся, решив, что во всех случаях этого рода действительно выразилась воля самого автора. Но даже и тут далеко не все решается легко и просто. Взять хотя бы живописный портрет начдива из рассказа «Берестечко».

В ранних изданиях он выглядел так:

«Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховой башлык его был перекинут через бурку, и кривая сабля лежала сбоку, как приклеенная. Ее рукоятка из черной кости правлена пышным узором, и футляр хранится у ординарцев, ведущих за начдивом заводных коней».

В последующих изданиях вторая половина этого текста (начиная со слов «как приклеенная») была изъята. Скорее всего изъятие это произвел сам Бабель. Но почему он это сделал? Потому ли, что описание рукоятки сабли и упоминание футляра, хранящегося у ординарцев, показалось ему лишней, необязательной подробностью, или потому, что эта красноречивая деталь могла бросить тень на героя, испытывавшего не совсем приличествующую красному командиру слабость к предметам роскоши?

После известной реакции Буденного (см. предисловие) «саморедактура» такого рода вполне

могла иметь место. И далеко не всегда исправленный, отредактированный вариант мог оказаться лучше, художественно убедительнее прежнего.

Как же следует поступать в таких не очень ясных случаях?

Вероятно, всякий раз текстолог должен решать, какой вариант органичнее для бабелевской поэтики. И выбирать тот, в котором наиболее адекватно выразились характерные черты и особенности созданного Бабелем художественного мира.

Тут, конечно, не избежать некоторой субъективности. И, разумеется, упреков в текстологическом произволе, вкусовщине и т. п. Но, во всяком случае, это лучше, чем ориентация на последнее прижизненное издание, как это предписано правилами.

Как бы то ни было, проблема существует. И будущим текстологам тут предстоит еще большая работа. Но немалая часть этой работы уже выполнена, что нашло отражение в составе последнего — самого полного — издания: И. Бабель. Сочинения в двух томах. М., 1990.

К сожалению, и в этом — безусловно, лучшем — издании сохраняются рудименты старой цензурной и редакторской правки.

Тем не менее все тексты И. Бабеля (включая письма) воспроизводятся мною по этому изданию.

Источники включенных в этот том документов указаны в примечаниях к ним.

В ряде случаев в примечаниях приводятся отдельные фразы и выражения из ранних изданий, изъятые или искаженные последующим вмешательством цензора (или редактора).

При подготовке примечаний мною использованы, помимо других источников, комментарии А. Краснощековой к книге: И. Бабель. Избранное (М., 1966), С. Н. Поварцова к собранию сочинений И. Бабеля в 2 томах (М., 1990) и Э. Зихера (Оксфорд) к книге: И. Бабель. Детство и другие рассказы (Иерусалим, 1989).

Предисловие

Бенедикт САРНОВ
ПОД ЗВОН КАВАЛЕРИЙСКИХ САБЕЛЬ

В начале 20-х, сразу после появления в печати первых глав бабелевской «Конармии», явилась на свет эпиграмма:

Под звон кавалерийских сабель
От Зощенки родился Бабель.

Поводом для нее стал тот неоспоримый факт, что зощенковские «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» были написаны летом и осенью 1921 года и в том же году вышли отдельным изданием. А появление рассказов из бабелевской «Конармии», — даже тех, что были напечатаны в одесских газетах и журналах еще до первых их московских публикаций в «ЛЕФе» и «Красной нови», — относится к 1923–1924 гг.

Честь открытия нового героя и нового способа его изображения, таким образом, действительно принадлежала автору «Синебрюхова».

Но достаточный ли это повод для того, чтобы

всерьез считать Зощенко не только предшественником, но и литературным родителем Бабеля?

* * *

Бабеля арестовали в 39-м, и почти на 20 лет книги его были изъяты из библиотек и самое имя его стало неупоминаемым. Вернулся он к читателю в 1957-м небольшим томиком «Избранного».

Но мне повезло. Я узнал Бабеля раньше. Задолго до официальной его реабилитации.

Было это в 42-м. Военной судьбой (эвакуация) нас занесло в город Серов — километров четыреста севернее Свердловска. В городе был огромный Дворец культуры. В годы войны там размещался госпиталь — иногда мы, школьники, ходили туда читать раненым бойцам какие-нибудь стихи или рассказы. Госпиталь потеснил почти все дворцовые — клубные — комнаты и залы. Но размещавшаяся во Дворце городская библиотека оставалась в неприкосновенности.

Я был тогда влюблен в Маяковского. И этой своей влюбленностью заразил троих своих одноклассников.

Ушибленные этим нашим увлечением, мы не вылезали из библиотеки. Старушка-библиотекарша, почуяв в нас настоящих любителей,

допускала нас к полкам. И вот однажды на какой-то из давно заброшенных, насквозь пропыленных полок мы обнаружили несколько разрозненных номеров «ЛЕФа». Восторгу нашему не было предела, в особенности когда в одном из этих номеров мы обнаружили рассказы неведомого нам писателя Бабеля. Это были рассказы из бабелевской «Конармии» — «Письмо», «Соль», «Начальник конзапаса»...

Прочитав их. мы сразу же кинулись к покровительствовавшей нам старушке: нет ли в библиотеке каких-нибудь книг этого самого Бабеля? Одна затрепанная книжонка отыскалась.

От этой бабелевской книжки мы просто ошалели. Вскоре мы чуть ли не всю ее знали на память. Мы щедро уснащали нашу речь бабелевскими фразами, как незадолго до этого то и дело вклинивали в нее реплики из Ильфа и Петрова и Зощенко.

— Беня знает за облаву, — говорил кто-нибудь из нас, если его спрашивали, помнит ли он, что завтра субботник.

— Холоднокровней, Маня, вы не на работе, — говорили мы девочке, в которую все четверо были влюблены, когда она начинала слишком уж бурно, повышая голос и тараща глаза, выражать

по какому-нибудь поводу свои чувства.

И — без всякого повода, просто так, наслаждаясь любимыми репликами: «У нас плохая положения» — или: «Самолюбствие мне дороже» — или: «Что вы скажете на это несчастье?» — или: «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей».

Как я уже сказал, Бабель сразу занял в нашем сознании то место, которое до знакомства с ним занимали любимые наши Ильф и Петров и Зощенко. Особенно Зощенко.

Мы сразу почувствовали, что между этими — прежними — нашими любимцами и недавно еще неведомым нам Бабелем есть какое-то очевидное сходство. Даже не сходство, а — родство. Что касается Ильфа и Петрова — тут все было понятно. Они, как и Бабель, были родом из Одессы и щедро уснащали одессизмами речь своих персонажей. Но Зощенко? У него-то что могло быть общего с Бабелем?

Общее между тем было. И мы это общее сразу почувствовали и даже догадались, в чем оно состоит.

Ведь до знакомства с Бабелем мы с таким же наслаждением, как теперь бабелевские, то и дело вклинивали в обиходную свою речь полюбив-

шиеся нам зощенковские выражения и обороты: «Ложи, говорю, взад!», «Вы, как кавалер и у власти…», «Курей и жареных утей у нас не будет и паштетов тоже не предвидится…», «Теноров нынче нету!..», «Это, говорит, невозможно допущать такие действия…».

Отнюдь не критики и не литературоведы, а самые обыкновенные и не слишком даже искушенные читатели, мы сразу почувствовали, что природа юмора у Бабеля и у Зощенко — одна. Мы сразу увидели — трудно было это не увидеть и не понять, — что главным способом создания юмористического, комического эффекта у Бабеля, как и у Зощенко, был язык. Говоря точнее, нарочитое искажение литературной и даже просто грамотной русской речи.

* * *

Если перевести это наше примитивное наблюдение на язык литературоведческих терминов, оно будет звучать так: основой художественного метода Бабеля — как и у Зощенко — является сказ.

Сказ — это такой способ повествования, когда рассказ ведется не от автора, а от лица его героя. Как правило, — не шибко грамотного и далеко

не всегда понимающего смысл того, о чем он рассказывает.

Но самая суть этого способа повествования, которым пользовался Зощенко, а вслед за ним и Бабель, этим далеко не исчерпывается.

Вот как сформулировал это Виктор Шкловский:

«Вот про Зощенка можно написать: «Проблема сказа» и говорить, что сказ это иллюзия живой речи…

Не в этом дело…

Лесков написал «Левшу». Хорошая вещь. Она вся сделана сказом. Сказ дан в форме хвастливого патриотического рассказа…

Но сказ только мотивирует второе восприятие вещи. Нигде прямо не сказано, но дается в упор: подкованная блоха не танцевала. Вот здесь и есть сюжет вещи. Сказ усложняет художественное произведение. Получается два плана: 1) то, что рассказывает человек, 2) то, что как бы случайно прорывается в его рассказе. Человек проговаривается…» (Виктор Шкловский. «О Зощенке и большой литературе»).

Возьмем для примера рассказ Бабеля «Измена». Он представляет собой что-то вроде докладной записки конармейца Никиты Балмашева на имя

следователя Бурденко. Суть этой записки заключается в том, что трое раненых бойцов — боец Головицын, боец Кустов и он, Никита Балмашев, попав на излечение в госпиталь, отказались выполнить требование врача — сдать оружие, сменить свою одежду на казенную, госпитальную, и искупаться в ванной. Вместо этого они «вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла…». Стекла эти они «нарушили», открыв стрельбу из офицерского нагана. И совершили все это, потому что в самое сердце были ужалены открывшейся их взору изменой:

«Что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные…

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть

и на горизонте полно туч».

Чуя, что тут пахнет изменой, героические бойцы Первой Конной изо всех сил старались не потерять бдительность и решили даже ночами не спать, а отдыхать — «в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами».

Но и эти меры предосторожности не помогли:

«… отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи…

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому…»

Контраст между тем, что чистосердечно пытается изложить автор этой «докладной записки» следователю Бурденко, и тем, что невольно прорывается в его рассказе, разителен.

«Получается второй план произведения. Вот. почему для сказа обычно берется ограничен-

ный человек. Не понимающий события. Бабеля определили как революционного писателя, взяв «Соль» и «Письмо» в первом плане. Зощенко определен как писатель обывательский...» (Виктор Шкловский. «О Зощенке и большой литературе»).

Сегодня, пожалуй, уже никто не скажет, что Зощенко — писатель обывательский. Но, если верить Шкловскому, Бабель в той же мере не является писателем революционным, в какой Зощенко — писателем обывательским.

Какой же он в таком случае писатель?

* * *

При жизни Бабеля — в 20-е и даже в 30-е годы — вопрос этот решался просто. Не революционный — значит, контрреволюционный. («Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть...»)

Именно так воспринял Бабеля и написал о нем главный его тогдашний разоблачитель — Семен Михайлович Буденный.

Знаменитую в свое время статью его, я думаю, имеет смысл привести здесь почти целиком. Не только потому, что она представляет собой весьма яркую страницу тогдашней литератур-

ной жизни. И даже не только потому, что это поможет современному читателю ощутить ту общественную атмосферу, в которой создавалась и публиковалась бабелевская «Конармия». Для того чтобы не только вспомнить о той буденновской статье, но и воспроизвести ее здесь, у меня есть еще и другие, более серьезные основания, о которых будет сказано ниже.

Итак, перед вами почти полный (за вычетом мало что добавляющих нескольких начальных абзацев) текст статьи С. М. Буденного «Бабизм Бабеля из «Красной нови», появившейся в 3-м номере журнала «Октябрь» за 1924 год:

«Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу, выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет.

Громкое название автору, очевидно, понадобилось на то, чтобы ошеломить читателя, заставить его поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшим до понимания своих классовых интересов, и непосредственной борьбой за власть, а кучкой

бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть…

Меня это не удивляет, меня удивляет то, что как мог наш советский худ. — публицистический журнал, с ответственным редактором-коммунистом во главе, в 1924 г. у нас в СССР допускать петь подобные песни, не проверив их идеологического смысла и исторически правильного содержания.

Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чужда, но зато он видит со страстью садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы».

Да, с таким воображением ничего другого, кроме клеветы на Конармию, — не напишешь.

Для нас все это не ново, эта старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна.

Ее яркие представители Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло назы-

вает это «Из книги Конармия».

Неужели тов. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале; не говорю уже о том, что т. Воровскому отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти».

На современного читателя эта давняя статья Буденного, вероятно, произведет скорее комическое впечатление. В ней и в самом деле немало курьезов. Комичен перечень злейших врагов советской власти, где рядом с Милюковым и Деникиным оказался почему-то Суворин, а в роли ярких представителей «дегенеративной, грязной и развратной» старой русской интеллигенции оказался — рядом с Арцыбашевым, которого автор статьи отождествляет с его героем Саниным, — А. И. Куприн. Еще более комична фраза, выражающая, по мысли Буденного, самую суть мировоззрения автора «Конармии», который якобы «смотрит на мир, как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы». На самом деле у Бабеля сказано так: «…Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером… Мы

оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Сегодня, читая эту давнюю статью, можно только улыбнуться. Но тем, кто читал эти обвинения Буденного тогда, когда они появились в печати, было не до смеха. Зловещий смысл буденновской статьи вполне мог обернуться для автора «Конармии» крупными неприятностями. И в конечном счете так оно и вышло.

Не случайно вся система обвинений Буденного всплыла потом в показаниях Бабеля на следствии, в его — отнюдь не добровольных — признаниях своей вины. (Какими способами выбивались из подследственного такие признания, мы теперь хорошо знаем.)

«Конармия», — оговаривает себя арестованный Бабель, — явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня чувств и настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всех жестокостей и несообразностей гражданской войны, искусственное введение эротического элемента, изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетар-

ским сознанием, регулярной и внушительной единицы Красной Армии, какой являлась в действительности Первая Конная». (Из протокола допроса арестованного И. Бабеля, бывш. члена Союза советских писателей.)

Из приведенной цитаты видно, что обвинения, предъявленные Бабелю на следствии (разумеется, не все, — там были и другие), чуть ли не дословно совпадали с теми, что содержались в появившейся за пятнадцать лет до его ареста статье Буденного.

Исходя из этого мы можем заключить, что та давняя статья не только предсказала, но в какой-то мере и предопределила трагическую судьбу автора «Конармии».

* * *

На самом деле никаким контрреволюционером, ненавистником революции, Бабель не был. И «художественной слюной классовой ненависти» своих героев не оплевывал.

В отличие, скажем, от Булгакова, который склонен был видеть в революции беду, вдруг, неведомо почему обрушившуюся на мирный и славный, никому не причинявший вреда

«Калабуховский дом», Бабель рассматривал революцию как грозную неизбежность. Но у него был острый и беспощадный взгляд, и он честно описал то, что увидел.

А увидел он вот что:

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова… Спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты… И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился… Вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки… В тое самое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одёжу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич

может его вполне зарезать...»

При всей жестокости и беспощадности своего зрения в своем отношении к революции Бабель все же ближе к Зощенко, чем к Булгакову.

Зощенко, размышляя о сути происшедшего в России в 1917 году катаклизма, вспоминает (в книге «Перед восходом солнца») крепко задевший его разговор с одной своей знакомой:

«Она сказала:

— Я не перестаю оплакивать прошлый мир...

Я сказал:

— Но ведь прошлый мир был ужасный мир. Это был мир богатых и нищих... Это был несправедливый мир.

— Пусть несправедливый, — ответила женщина, — но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но неярких, скучных и будничных, какие мы видим... Что касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопчется по ноге».

К этой замечательной формуле Зощенко не раз возвращается в своих книгах. В сущности, каждая из них представляет художественное исследование именно вот этого исторического и психологического феномену. И в каждой

автор в конце концов приходит к печальному выводу, что никакие социальные потрясения не в силах изменить природу человека. Новые, казалось бы, кардинально изменившиеся устои их социального бытия люди так или иначе все равно приспособят к этой вечцой своей, неизменной сущности, к своей подлой человеческой природе.

Но Зощенко видел свою задачу в том, чтобы показать, как именно стаптывался этот «новый башмак», постепенно принимая форму ноги.

У Бабеля «башмак» не стаптывается по ноге: этот новый, еще не разношенный «башмак» сразу оказывается ноге точно впору.

Орден Красного Знамени, полученный красным героем Семеном Тимофеевичем Курдюковым, дает ему право не только на двух коней, справную одёжу и отдельную телегу для барахла; Он открывает перед ним и другие, куда более существенные и привлекательные возможности: «Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеевич может его вполне зарезать».

При всем при том, подобно Зощенко, который все же сочувствует своему герою-обывателю (Булгаков своим Шарикову и Швондеру не сочувствует ничуть), Бабель искренне сочувствует и

своим одесским бандитам-налетчикам, и своим порой звероподобным героям конармейцам.

Скажу больше: он по-своему их любит.

Ведь и Гоголь, наверно, любил своих Сабакевича и Ноздрева, Хлестакова и Подколесина.

Автобиография

Впервые: «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков». Под ред. Вл. Лидина. М., 1926.

«В 1925 или 1927 году я редактировал книгу «Автобиографии Советских писателей». Для этой книги написал свою автобиографию по моей просьбе и Исаак Эммануилович. У меня долго хранилось письмо, к сожалению, ныне пропавшее, в котором он написал, что первый раз согрешил автобиографией и больше никогда не повторит. Эта автобиография явилась единственной опубликованной автобиографией Бабеля…» (В. Лидин. Из выступления на вечере, посвященном 70-летию со дня рождения И. Э. Бабеля, в Центральном Доме литераторов 11 ноября 1964 г.).

Никаких новых попыток написать свою автобиографию Бабель действительно никогда больше не предпринимал. Но в 1932 г. он вернулся к этому тексту, слегка его выправил и дописал такой заключающий его абзац:

«За два года были написаны «Конармия» и «Одесские рассказы». Потом снова настала для ме-

ня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы».

———

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке[1], сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд[2]. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в

---

[1] Примечания: 1

Молдаванка — район Одессы, где до революции ютилась еврейская беднота, известен как прибежище уголовников и бандитов. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[2] Примечания: 2

Талмуд — обширный цикл религиозной литературы, завершенный в V в. н. э. и регламентирующий религиозно-правовые нормы иудаизма; содержит толкование Завета, устные предания, научные сведения и т. д. Предмет религиозного еврейского образования.

То, что Бабель в детстве учился ивриту, подтверждается тем, что он авторизовал перевод своих рассказов на иврит (сб.: «Берешит», № 1. М.-Л., 1926, с. 15–38). — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве ив 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покой-

ный Измайлов[3], Поссе[4] и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года,

---

[3] Примечания: 3

Александр Алексеевич Измайлов (1873–1921) — русский писатель, критик. Большой известностью пользовались его литературные пародии и шаржи: «Кривое зеркало» и др., в которых он глумился над всеми новыми течениями в литературе. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[4] Примечания: 4

Владимир Александрович Поссе (р. 1864) — публицист. Организатор и редактор первых легальных марксистских журналов «Новое слово» и «Жизнь», один из основателей издательства «Знание». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

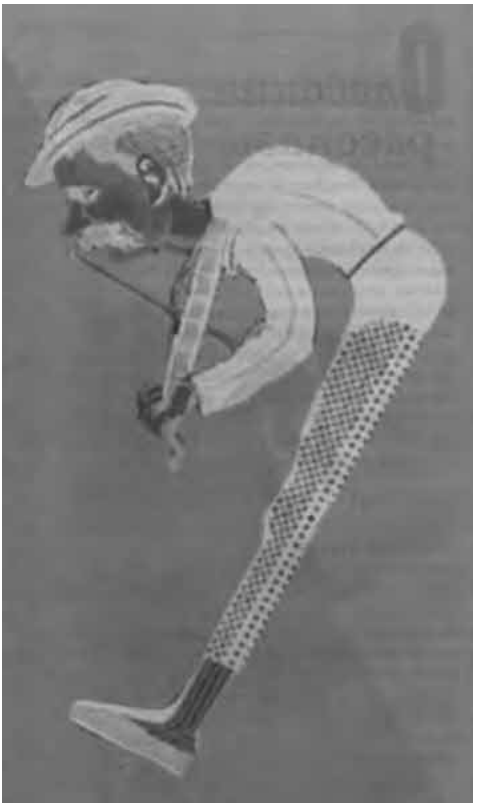
в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «ЛЕФ» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

Одесские рассказы





Этот цикл из четырех рассказов создавался писателем в период с 1921 по 1923 г. Такой же

подзаголовок («Из одесских рассказов») Бабель предпослал двум другим своим рассказам — «Справедливость в скобках» (1921) и «Конец богадельни» (окончен в 1930 г.). Но в цикл «Одесских рассказов», сложившийся в начале 20-х гг., он их никогда не включал. Поэтому и мы не сочли возможным включить их в этот раздел, нарушив тем самым границы цикла, определенные самим автором.

Король

Король. Впервые: газ. «Моряк». Одесса, 1921, 23 июня. С подзаголовком: «Из одесских рассказов».

———

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила

восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой…

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана…

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь…

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше…

— А когда будет облава, вы знаете. Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал

он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…»

— Дальше.

— Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбствие мне дороже…

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая

корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его

дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум…

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу

Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум,

распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы[5], вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и не угасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в

[5] Примечания: 5

Шамес — служка в синагоге. Во всех поздних изданиях, включая двухтомник, в реплике: «… самолюбствие мне дороже» слово «самолюбствие заменялось на «самолюбие». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном. — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов…

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов…

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка…

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — холоднокровней, Маня…

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хо-

тите…

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай…

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно,

как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

Как это делалось в Одессе

Как это делалось в Одессе. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 1923, 5 мая (Литературное приложение к № 1025).

———

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему

знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Венчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете

туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка Бык и компания» произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию

с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой… и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал

тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть,

и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь наконец за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной

душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня. Венчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек — и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним…

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где

кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей…

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда

я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль…

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто был, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц

до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына…

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей[6] или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока

[6] Примечания: 6

Кошерная птица — зарезанная резником, согласно ритуалу, предписанному религией. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз.

А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть

люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса…

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие.

Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили Кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни

Кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

Отец

Отец. Впервые: журн. «Красная новь». 1924, № 5. С подзаголовком: «Из одесских рассказов».

———

Фроим Грач был женат когда-то.

Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей…

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества «Дрейфус». К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской

улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения…

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день… Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь…

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь! —

прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были укреплены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям

Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая как бы они обнимали Ваську, если б она этого захотела. И вот Васька тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки…

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку.

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими

младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять…

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни…

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными

жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость…

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях г занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Васькой

и пару старых грошей, и я сам есть за Васькой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем…

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но… но мадам Каплун… есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет…

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня…

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи…

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня… Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора…

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой

Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фрейму Грачу, проходившему мимо…

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться…

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач… Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя…

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менде-

ле и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт… Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым… Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты

пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, — выведи его в люди…

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем…

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу. Венчик, и потом можно слюни пускать… Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его…

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю,

пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает…

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша, все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл наконец двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так

мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего…

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Васькиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Васькиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков…

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь,

когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

Любка Казак

Любка Казак. Впервые: журн. «Красная новь». 1924, № 5 — С подзаголовком: «Из одесских рассказов».

———

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из

них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя.

Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за затеку и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и

стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни…

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема»[7]. Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску…

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл,

---

[7] Примечания: 7

Баал Шем, или Баал Шем Тов — буквально: «Владеющий ИМЕНЕМ». «Хозяин этому ИМЕНИ» (имеется в виду имя божие}—так в Средние века (и позже) именовали мудрецов, владеющих тайными именами бога и поэтому обладающих чудодейственной силой. Здесь имеется в виду рабби Исраэль бен Элиэзер Баал-Шем-Тов из Меджибожа, подписывавшийся аббревиатурой Бешт (ок. 1700–1760), основатель хасидизма, религиозно-мистического движения в иудаизме, получившего огромное распространение. Популярная среди хасидов книга «Чудеса и сердце Баал-Шема» содержит легенды и предания о его жизни. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге…

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи… А-а-а, вот всем детям кулаки…

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха,

обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь[8], и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

---

[8] Примечания: 8

Пересыпь — район одесского порта. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка…

— Цьпъ, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года… Идите дайте ему цицю…

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хоти-

те вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока…

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей…

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол. Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко…

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась

и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунин-зону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен. мисс Любка…

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая

лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать…

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали…

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали…

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку…

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

ИЗ «КОНАРМИИ»

Из «Конармии»



Книга «Конармия» впервые вышла в свет отдельным изданием 1 1926 г. Она состояла из тридцати четырех новелл, которые печатались в одесских журналах и газетах («Шквал», «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпросвета»), а также в журналах «ЛЕФ», «Красная новь» и «Прожектор» — с февраля 1923 г. по апрель 1925 г.

———

Эта книга Бабеля сразу стала заметным явлением литературной жизни того времени. «Конармия», — отметил один из первых рецензентов (Н. Берковский), — одно из значительных явлений в художественной литературе о гражданской войне» («Новый мир», 1925, № 7, с. 153). Другой критик (В. Полянский) сравнил даже «Конармию» с «Севастопольскими рассказами», заметив, что, как и там, у Бабеля «героем в конце концов является правда» — «правда… крестьянской стихии, поднявшейся на помощь пролетарской революции, коммунизму, хотя бы и своеобразно понимаемому» (В. Полянский. Вопросы современной критики. М.-Л., 1927, с. 279–280).

Высоко оценил новую бабелевскую кишу

М. Горький. Он даже сопоставил Бабеля с Гоголем, отдав бабелевской «Конармии» предпочтение в сравнении С гоголевским «Тарасом Бульбой».

«В повести «Тарас Бульба» он, — писал Горький о Гоголе, — изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них — красивая неправда».

Все это говорилось не в укор Гоголю. Скорее — наоборот. «Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? — спрашивал Горький. И отвечал: —Да, защищаю…»

И как раз вот в этой связи он вспомнил бабелевскую «Конармию»:

«Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 24. М., 1953, с. 473).

Это был ответ на статью С. Буденного, которую я цитирую в предисловии к настоящему изданию.

Статья эта появилась еще до того, как бабелевская «Конармия» вышла отдельной книгой.

Отрывок из статьи Горького «О том, как я учился писать», в котором содержался его ответ Буденному, был напечатан в «Правде» и в «Известиях» 30 сентября 1928 г., 26 октября того же года «Правда» напечатала написанное Буденным «Открытье письмо Максиму Горькому», в котором легендарный командарм настаивал на Своей правоте так же решительно, как и за четыре года до этого, протестуя против «сверхнахальной бабелевской клеветы». Спустя месяц — 27 ноября 1928 г. на страницах той же газеты М. Горький опубликовал свой «Ответ С. Буденному».

«Прочитайте ответ Горького. По-моему, он слишком мягко отвечает на этот документ; полный зловонного невежества и унтер-офицерского марксизма» (из письма И. Бабеля А. Г. Слоним 29 ноября 1928 г.).

Ответ Горького справедливо показался Бабелю чрезмерно мягким. Но Бабель не знал, что в процессе редактирования этот ответ претерпел весьма существенные изменения.

В первоначальном его варианте говорилось:

«Товарищ Буденный, разрешите сказать Вам, что… въехав в литературу на коне и с высоты

коня критикуя ее. Вы уподобляете себя тем бесшабашным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенной теории, а для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был или культурно выше литератора, или — по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним».

Члены редколлегии «Правды» А. Халатов и Г. Крумин попросили Горького смягчить этот абзац, мотивируя это тем, что он может быть воспринят как «личное оскорбление».

Горький согласился, и именно в такой редакции его ответ и был напечатан в «Правде», а первоначальный, гораздо более определенный, до читателя не дошел (см.: Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький: последние двадцать лет. М., 1999, с. 219).

Письмо

Письмо. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 1923, 11 февраля. Датировано: «Новоград-Волынск, июнь 1920 г.».

———

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря Господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь, от бела лица до сырой земли…» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич,

который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики

со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал

от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет по-боле Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что, вставши, пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира, и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Тгшерича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было

видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат СЕНЬКА и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали. что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать,

которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать…

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия

Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря…

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия…

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмыслен-

ных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня… чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

Начальник конзапаса

Начальник конзапаса. Впервые: журн. «ЛЕФ», 1923, № 4, под названием «Дьяков». Датировано: «июль 1920 г.»

———

На деревне стон стоит.

Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как

всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик,

хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату… Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей…

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется…

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться… Она, сирота, подохнет…

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то

повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — А ты жалился, желанный друг…

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

Мой первый гусь

Мой первый гусь. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 1924, 4 мая. Датировано: «июль 1920 г.».

———

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить…

«…Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответствен-

ность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться…»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета…

— Ты из киндербальзамов[9], — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, де-

---

[9] Примечания: 9

Киндербальзам *(нем.)* — буквально: детский бальзам. Савицкий хочет сказать, что Лютов — маменькин сынок. Вряд ли это такая сложная метафора, скорее он просто перепутал «киндербальзам» с «вундеркиндом». *— (коммент. Б. М. Сарнова)*

ревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка…

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек, пострадавший по ученой части…

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной

сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым…

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо…

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я

тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами…

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле; гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет…

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача…

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал, и ликовал, и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

Комбриг два

Комбриг два. Впервые: журн. «ЛЕФ», 1923, № 4, под названием «Колесников». Датировано: «Броды, август 1920 г.».

———

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка.

Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал ко-

мандарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидали ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас. Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза. «Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены, Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце, и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча. Впервые: журн. «Шквал», Одесса, 1924, № 8. С посвящением Д. А. Шмидту[10], «начдиву второй Червоной».

———

Земляки, товарищи, родные мои братья!

Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в

[10] Примечания: 10

Шмидт Дмитрий Аркадьевич (наст. фамилия — Гутман, 1896–1937) — член РСДРП(б) с 1915 г., участник Гражданской войны на Украине. Был дружен с Бабелем и Э. Багрицким. Багрицкий посвятил ему либретто оперы «Дума про Опанаса». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила…

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем? — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной

надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбаки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне…

И я отвечаю ей.

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю…

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь…

И, поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь

нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин…

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых

потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует…

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца, и сына, и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину, и возвожу к нему простые мои глаза, и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость…

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные мои братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не при-

был в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок… Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издале-

ка, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от

нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина…

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению…» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо…

А он мне: нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово…

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Яс тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали… Стреляй в меня, сукин сын…

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там, в зале, Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе

гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…

История одной лошади

История одной лошади. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 13 апреля, под названием «Тимошенко и Мельников». Датирован: «Радзивиллов, июль 1920 г.». При подготовке первого издания «Конармии» Бабель заменил подлинные фамилии на вымышленные: Мельников стал Хлебниковым, Тимошенко — Савицким.

Из письма И. Бабеля в редакцию журнала «Октябрь»:

«В 1920 году я служил в 6-й дивизии Первой Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках

остались только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать… Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров».

Это письмо, датированное сентябрем — октябрем 1924 г., безусловно, является реакцией писателя на фразу, заключающую опубликованную в мартовском номере того же журнала статью С. Буденного: «…не говорю уже о том, что т. Воронскому отнюдь не безызвестны фамилии…». На мысль о замене фамилий Бабеля могло натолкнуть и письмо Мельникова в редакцию журнала «Красная новь» от 4.7.1924 г., в котором тот, благодаря Бабеля за рассказы о Конной армии, замечал: «Указание, что я подал военкому заявление о выходе из РКП(б), не соответствует истине». См. также: С. Мельников. Первая Конная (из воспоминаний бойца) // «Красная новь», 1930, № 6. с. 6–7.

Во всех изданиях начиная с 30-х гг. из рассказа изымалась фраза: «И он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно и

приятно слушать».

———

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», — и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом…

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе господи, чешемся… Направила бы самоварчик…

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого…

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела…

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает…

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил наконец первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге. — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из Коммунистической партии большевиков.

«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот

резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь…»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мыс военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не

сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но недоглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Конкин

Конкин. Впервые: журн. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: «Дубно, август 1920».

———

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью.

Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкамаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится… Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика… Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит…

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только нас двое, а их восемь…

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю… Помрем за кислый огурец и мировую революцию…

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина[11] для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку. «Ладно, — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги…» Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подо-

---

[11] Примечания: 11

Духонин Н. Н. (1876–1917) — генерал-лейтенант, после бегства А. Ф. Керенского принял на себя обязанности главковерха. Убит толпой солдат на вокзале в Могилеве. «В штаб Духонина» — идиоматическое выражение времен Гражданской войны, означающее «на расстрел». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

рвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком…»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня…

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за-ради бога, и мы отдохнем с тобой,

пан…

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю…

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я, и плачу, и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего… Нижний город на Волге-реке…

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, Третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски…

Эту исторгло со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар Ы…ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови,

не до него…

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

Соль

Соль. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 1923, 25 ноября (литературное приложение к № 1195).

———

«Дорогой товарищ редактор.

Хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредные. Надеюся на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели на-

правление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться, переговариваться между собой, — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках

и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет…

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были дитями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить…

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дате, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему

мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения…

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка полетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят…

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступилися ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов…

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру

у ней с рук дате, и рву с него пеленки и тряпье, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит…

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло…

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продаст. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и мужья, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек… А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью…

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете…

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне… Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, нечестная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просют и до ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите…

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

Вечер

Вечер. Впервые: журн. «Красная новь», 1925, № 3, под названием «Галин». Датировано: «Ковель, 1920».

———

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостых сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают

неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства…[12] Об этом вам надо знать, Ирина…

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и

---

[12] Примечания: 12

Имеется в виду император Александр Третий (внук Николая Первого), который и в самом деле любил выпить.

В поздних изданиях из рассказа, помимо уже приводившейся реплики о коммунистической партии, которая вся «ходит в передниках, измазанных кровью и калом», изымалось сравнение: «Так смотрит на профессора, преданного науке, девушка, жаждущая неудобств зачатия». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза…

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая:

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить…

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза… Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец

пришел, и я устал жить в нашей Конармии…

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку…

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут…

Но Василий только дернул пяткой и придви-

нулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин. — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой…

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

Афонька Бида

Афонька Бида. Впервые: журн. «Красная новь». 1924, № 1.

———

Мы дрались под Лешнювом.

Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье пере-

стало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но

тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака[13]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке, ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Виду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

---

[13] Примечания: 13

Масляков — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла блох ловить, пешка…

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они

выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени под-

мятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Вида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови… При станичниках, дорогих братьях обещаюся тебе, Степан…

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части…

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый

Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня — где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня…

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отго-

лоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую

слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Вида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него… Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощ-

ник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.

Эскадронный Трунов

Эскадронный Трунов. Впервые: журн. «Красная новь», 1925, № 2.

———

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его,

набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь….

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и

галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале[14] и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов…

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая

[14] Примечания: 14

Каббала (др. евр. букв. — предание) — средневековое религиозно-мистическое учение, распространенное среди приверженцев иудаизма. Допускает переселение душ. Использовалась для магии. По каббалистическим выкладкам производились гадания. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной

за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с

нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— …Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне…

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству…

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду… На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю…

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая, — впору… — И всунул пленному саблю в глотку.

Старик упал, повел ногами, из горла его вы-

лился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша Советская, живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый

этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в трикотовой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь. — Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел…

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка…

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, — звон еще и другой гудит…

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих,

Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачову от меня…

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному…»

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые…

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята… — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся

наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь. Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда: аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте

— в общественном саду, в цветнике, посредине города.

Иваны

Иваны. Впервые: журн. «Русский современник», 1924, № 1.

В ранних изданиях было: «Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Она выливалась у него изо рта, брызгала между зубов и стояла в пустых глазницах». Во всех посмертных изданиях Бабеля, включая двухтомник, вторая фраза отсутствует.

———

Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды.

Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить…

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упор-

ства.

— Шут, с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание…

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении…

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь…

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают…

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет…

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона…

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит…

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо

делать форменно…

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван…

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобней, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобней седай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование

частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения

женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой. Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали…

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону,

кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пишу, — он симулирует надо мной третьи сутки…

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона. Сначала Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают…

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра. — закричал Коротков на первой телеге — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен…

— Таперя кажный важного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто…

— Или того лучше, — произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван…

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу…

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь…

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая…

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань…

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия, и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов.

Земли стыдно…

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне…

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггеев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят…

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским

всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табаку, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали. Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дать надругаюсь...

Продолжение истории одной лошади

Продолжение истории одной лошади. Впервые: журн. «Красная новь», 1924, № 3, под названием «Тимошенко и Мальников». Датировано: «Галиция, сентябрь 1920».

———

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы

всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении…»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из Коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не

дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

Измена

Измена. Впервые: газ. «Известия», Одесса, 1923, 20 марта.

В поздних изданиях из рассказа изымалась фраза: «На госпиталь этот я положил с походом».

Из фразы «… душа горит и рвет огнем тюрьму тела и острог постылых ребер» в изданиях 30-х гг. исчез «острог постылых ребер». Исчезла также фраза, в издании 1926 г. заключавшая рассказ: «Но мы отдерем половицу, восставшую против невинно грубости нашей, и мы нальем черной крови в сапоги, обученные не скрипеть».

———

«Товарищ следователь Бурденко.

На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке,

которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин, совместно с товарищем Троцким, не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N-..ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные

вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил helm слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз… И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калеченными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы сеть земляки с одной судьбой, и у кого

разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже

были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки… Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани… И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фуриганит над нами и с ней немилосердные

сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она. Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть… Гражданин Бойдер-ман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами,

тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты… Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела…

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому…»

Чесники

Чесники. Впервые: журн. «Красная новь», 1924, № 3.

В поздних изданиях из рассказа изымался следующий абзац: «Две пухлых сестры в передничках укладывались там на траве. Они толкались молодыми грудями и отпихивались друг от дружки. Они смеялись замирающим бабьим смешком и подмигивали мне снизу, не мигая. Так подмигивают пересыхающему парню деревенские девки с голыми ногами, деревенские девки, взвизгивающие, как обласканные щенята, и ночующие на дворе в томительных подушках скирды».

———

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов…

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажите войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой!..

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стреме-

нем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету…

— Положил я на эти ребра… — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята…

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою… — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое омерзительное его лицо искажено. Клинком

неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к

мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову >і хозяин. Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает.:)то цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, говорит, Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году…»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь…

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду…

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловав свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка стро-

го и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч…

— Бежит не бежит, — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон…

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

После боя

После боя. Впервые: журн. «Прожектор», 1924, № 20. Датировано: «Галиция, сентябрь 1920».

———

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговре-

менная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — заверни мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — заверни коня…

— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял

меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторял он чуть слышно, — моя за тобой следом… — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли.

Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гудимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженый, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к

нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш…

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду…

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир…

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору…

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает… Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг

Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залажи-вал… где тому причина?..

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет… — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет…

— Значит, ты молокан?[15] — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством, — ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают…

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

---

[15] Примечания: 15

Молокане — одна из разновидностей «духовного христианства» в России. Появились в конце 60-х гг. XVIII в. Отрицали православную церковную иерархию, монашество, иконы, мощи, святых. Библию рассматривали как единственный источник истины, считали ее главным руководством в повседневной жизни. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник…

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется…

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

Аргамак

Аргамак. Впервые: журн. «Новый мир», 1932, № 3. Датировано: «1924–1930».

———

Я решил перейти в строй.

Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят…

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от

забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз. Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный.

Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавале-

рийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный. При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать…

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь

мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть…

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен…

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел…

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина. Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он, не оборачиваясь, — это твоя печаль…

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась

снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит… Боевитый ездок, дебелый… В табун приедет — ему сейчас коня выбирать… Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит… Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить… Меня этот конь не заохотил… У меня, говорит, охота смертельная… Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот. Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того,

чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь? — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную…

— Смотри, нарвешься…

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село

Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолот, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить… Помиримся, что ли?..

— Еще Пасхи нет чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормо-

тал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться…

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу… Ты без врагов жить норовишь… Ты к этому все ладишь — без врагов…

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием. — Это скука получается… Пошел от нас к трепаной матери…

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

Поцелуй

Поцелуй. Впервые: журн. «Красная новь», 1937, № 7.

———

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете: я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком: серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский лукавый казак, доложил мне обстановку; кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева: дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно,

но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой: учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня Советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые.

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает…

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь

бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям…

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продук-

тов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев

отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней. я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно о тстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену. прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу, упавшая на стол

рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой, — и, обхватив мое лицо голыми длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем.

Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал он в телефон, — приказание явиться к командиру бригады…

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторял он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла

куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку…

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы…

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью…

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего

в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и

рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских…

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем…

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть… Рано вспугнул…

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул… А то разговорился, старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал… Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся…

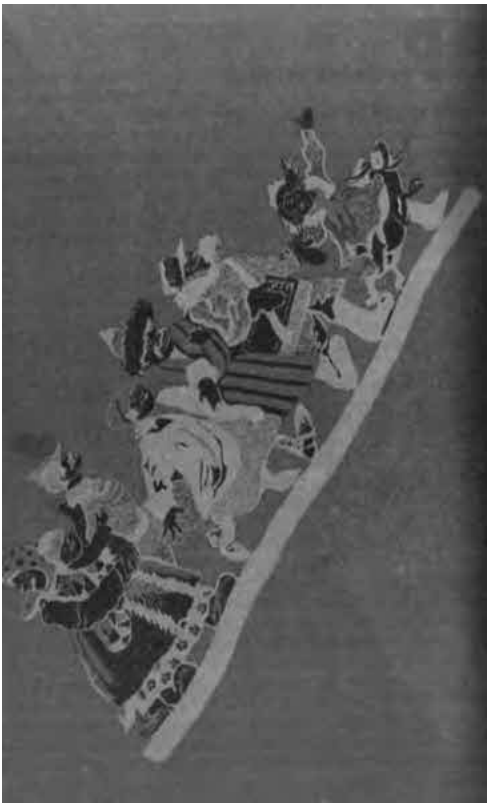
Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Рассказы разных лет





В этот раздел входят ранние рассказы И. Бабеля, большинство которых не включалось ни

в прижизненные, ни в посмертные издания, а также произведения, большая часть которых, по замыслу автора, должна была составить циклы рассказов «История моей голубятни» и «Великая Криница». Некоторые сюжеты примыкают к циклу «Одесских рассказов». Все произведения расположены в соответствии с хронологическим принципом, по первым публикациям.

Девять

Девять. Впервые: «Журнал журналов». СПб., 1916, № 49, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

———

Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его — Сардаров. Профессия — куплетист. Просьба — издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно — может быть и послесловие.

Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некуда. Номер составлен. Просматривает куплеты:

Ах, жалобно стонет Франц —
Иосиф ив в Вене —
Ах, у мене уже совсем нету терпенья…

Редактор отвечает, что, к сожалению, и прочее.

Журнал нуждается в статьях по кооперации, в заграничных корреспондентах…

Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бонтонно извивается и с шумом уходит.

Вторым номером идет барышня — худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать — только этого она хочет, — стоит ли ей писать? Редактор говорит с ней ласково. Он видит ее иногда на Невском с высоким господином, изредка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность эта опасна. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни.

«Ты хочешь тела, — пишет девушка, — возьми его, мой враг, мой друг, но где душе найти мечту?»

Редактор думает. Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна.

В стихах девушка описывает жизнь «безумно-отпугивающую» или «безумно-прекрасную», прочие маленькие неприятности, и еще «звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие, звуки без конца…»

Есть уверенность, что по удачном завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам.

После девушки к редактору входит литератор Лунев, маленький и нервный человек. История здесь сложная. Лунев когда-то разругал редактора. Человек он растерянный, семейный, талантливый и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем — не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом неожиданно для самого себя принес рукописи, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет, ах, как не везет. В приемной у него было небольшое сердцебиение, в кабинете ему заявили, что «вещица» недурна, но, au fond[16], это же не литература, это же… Лунев лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что «вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то — к вам нехорошо, — все это можно разно понять, вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже, честь имею»… У Лунева выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи,

[16] Примечания: 16
По существу.

и хочет он сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а впрочем, бог его знает, чего он хочет…

Лунева сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж — дама, розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов. Глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок — девяти лет, и вот этот сынок — «пы знаете, он пишет по целым дням, мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге, уж на что мой муж, он служит в мелиоративном отделе, уж на что положительный человек, совсем не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую, но и он искренно смеялся, я принесла вам три тетради»…

Второй персонаж — Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается, дела у него к редактору, в сущности, нет, говорить ему, собственно, не о чем, но он подписчик, приехал он так — побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах — Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны.

Самый печальный посетитель — это Корб. Он еврей, истинный Агасфер. Родился в Литве, был ранен по время погрома в одном из южных городов. С тех нор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке. Во время войны очутился почему-то в Антверпене и сорока четырех лет от роду поступил в Иностранный легион. У Мобежа его контузили в голову. <)на у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то пособие, снимает на Песках угол в смрадном подвале и пишет драму: «Царь Израильский». У Корба очень болит голова, по ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. Хозяин его, упитанный и снисходительный человек, курящий черные сигары по 4 коп. штука, сначала сердился, но потом, побеж-депный кротостью и трудолюбием Корба, исписывавшего сотни листов, полюбил его. На Корбе старый, выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах — и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так: «Звони в колокола, погибла Иудея…»

После Корба остаются трое. Один из них молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающийся в крес-

ло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, вырезки на столе, портреты сотрудников… Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно… Он работал в прессе… В какой прессе? В провинциальной… А вот интересно, в скольких экземплярах расходится ваш журнал, какая оценка труда?.. Молодому человеку объясняют, что на такие вопросы не всегда отвечают и что если он пишет, то — пожалуйста, а если не пишет, то… Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например… редактором.

Выходит «редактор», входит Смурский… Тоже с биографией человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома, кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитке и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало.

А девятый посетитель вот кто — Степан Драко,

«путешественник пешком вокруг света, король жизни и лектор».

Одесса

Одесса. Впервые: «Журнал журналов». СПб., 1916, № 51, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

———

Одесса очень скверный город.

Это всем известно. Вместо «большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция.

Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит — противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще — одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (qui salt?[17]), единственного в России города, где может родиться так нужный нам наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, — одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом,

---

[17] Примечания: 17
Кто знает? *(фр.).*

но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни: хорошей, скверной и необыкновенно — quand meme et malgre tout[18] — интересной.

Я видел Уточкина, одессита pur sang[19], беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры,

---

[18] Примечания: 18
Все же и несмотря ни на что *(фр.)*.

[19] Примечания: 19
Чистокровный *(фр.)*.

изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин… За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и

американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса, — в конце концов скажет читатель, — такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так. и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur[20], в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно, — но все же, quand meme et malgre tout[21] необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана при-

---

[20] Примечания: 20
Честное слово *(фр.).*

[21] Примечания: 21
Все же и несмотря ни на что *(фр.).*

душили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — «Нос», «Шинель», «Портрет и Записки Сумасшедшего». Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, — был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает — почему он любит солнце,

почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает; громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все.

В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, может быть, «к кресту на Святой

Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем.

Вдохновение

Вдохновение. Впервые: «Журнал журналов». СПб., 1917, № 7, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

———

Мне хотелось спать, и я был зол.

В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь», — сказал он и вытащил из кармана бутылку вина.

«Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется — это настоящее. Выпьем, друг».

Лицо у Мишки было бледное и потное. «Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле, — сказал он. — Счастье — это вдохновение. Я писал вчера всю ночь и не заметил, как рассвело. Потом гулял по городу. Рано утром город удивителен: роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно, и движется день — холодно-голубой, призрачный и нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую — эта повесть «перелом в моей жизни». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука — тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в

конце пальцами.

«Понимаешь — эту повесть надо пристроить, — продолжал он. — Везде примут. Теперь гадость печатают. Главное — протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает…»

«Мишка, — сказал я, — ты бы просмотрел свою повесть, она у тебя совсем без помарок»…

«Пустяки, потом… Дома, понимаешь, смеются. Rira bien, qul rira le demler[22]. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут»… Бутылка подходила к концу.

«Брось пить, Мишка…»

«Возбудиться нужно, — ответил он, — вот за вчерашнюю ночь я 40 папирос выкурил…» Он вынул тетрадь. Она была очень толстая, очень. Я подумал — не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухла жила, на криво и жалко болтавшийся галстучек и сказал: «Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь — не забудь…»

Мишка улыбнулся.

«Мерзавец, — ответил он, — ты совсем не ценишь моего знакомства».

Я удобно уселся. Мишка склонился над тетра-

---

[22] Примечания: 22

Смеется тот, кто смеется последним *(фр.)*.

дью. В комнате были тишина и сумрак.

«В этой повести, — сказал Мишка, — я хотел дать новое произведение, окутанное дымкой мечты, нежность, полутени и намек… Мне противна, противна грубость нашей жизни…»

«Довольно предисловий, — ответил я, — читай…» Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута.

Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно — каков человек конторщик, какова она.

Я посмотрел на Мишку. Глаза его разгорались. Пальцы комкали потухавшие папиросы. Лицо его — тупое и узкое, тягостно обрубленное ненужным мастером, толстый, торчащий и желтый нос, бледнорозовые, вспухшие губы, все светлело, медлительно, с неотвратимо внедрявшейся силой исполнялось творческого и радостно-уверенного восторга.

Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня…

«Видишь ли, Мишка, — медленно сказал я, — видишь ли, об этом надо подумать… Идея у тебя очень оригинальная, есть нежность… Но, видишь ли, разработка… Надо, понимаешь, разгладить…»

«Я вынашивал эту вещь три года, — ответил Мишка, — конечно, есть шероховатости, но главное?..»

Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу.

«Мишка, — тогда сказал я, — ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но са viendra[23]. Черт побери, много же у тебя в голове помещается»…

Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были как у ребенка — ласковые, сияющие и счастливые.

«Выйдем на улицу, — сказал он, — выйдем, мне душно…»

Улицы были темны и тихи.

Мишка крепко сжимал мою руку и говорил:

«Я неошибочно чувствую — у меня талант. Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью — в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заго-

---

[23] Примечания: 23
Это придет *(фр.).*

ворил тише: «Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю — я делаю, как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно три часа проваляться, чтоб заснуть. По утрам голова болит, тупо, ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина. когда душа горит. Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы… Знаешь, дым стоит под потолком…»

Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь. Порывистое, худое, желтое, счастливое лицо.

«Мы еще повоюем, черт возьми, — сказал он и сильнее сжал мою руку. — В Петрограде все выбиваются».

«Все-таки, Мишка, — сказал я, — работать надо»…

«Сашка, друг, — ответил он. И крепко, покровительственно усмехнулся. — Я хитер, что знаю — то знаю, не беспокойся, не почию на лаврах. Приходи завтра. Посмотрим еще разок».

«Ладно, — проговорил я, — приду».

Мы расстались. Я пошел домой. Мне было очень грустно.

Справедливость в скобках

Справедливость в скобках. Впервые: однодневная газета «На помощь!», Одесса, 1921, 15 августа. С подзаголовком: «Из одесских рассказов».

———

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина[24]. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

…Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

---

[24] Примечания: 24

Сергей Исаевич Уточкин (1876–1916) — один из первых русских летчиков, одессит. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

...Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море, под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo»[25], к тому же специалисты по своей бранже[26]. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили гуда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное слово, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал

---

[25] Примечания: 25
Первые из первых *(лат.).*

[26] Примечания: 26
Бранжа *(угол.)* — дело.

его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня, — говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я Королю, — так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена Короля с ним согласилась.

— Детка, — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он ры-

жий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в Общество взаимного кредита…

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично, — подхватывает Беня Крик, — напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, — обращается ко мне Король, — в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности, — сказал Король, снимая медленными пальцами золотой ободок с

сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов Короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова Короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, — сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum[27], как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился и «Справедливости». Он нагрузил

---

[27] Примечания: 27
И с этим покончено *(нем.)*.

полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом: Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, полому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно, — ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим…

— Молчать, — произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье, Беня

сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот, — прокричал тогда Колька. — Беня хочет меня убить, это довольно интересно…

В первый раз в жизни Короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом. Один Король не смеялся.

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: Король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал Король. — веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, Король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший Король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал.

Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их Король.

Потом они встали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а Король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля, — спросил наконец Король, — кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке

и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было. Король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз, — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой…

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох как

она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Венчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать,

они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

Линия и цвет

Линия и цвет. Впервые: журн. «Красная новь», 1923, № 7.

С подзаголовком: «Истинное происшествие».

———

Александра Федоровича Керенского[28] я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатория Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Амударьи. Зацареный был ему другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас

---

[28] Примечания: 28

Александр Федорович Керенский (1881–1970) — глава Временного правительства в 1917 г. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца. О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна.

Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта[29].

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти, — сказал я, — как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес, — сказал я. — Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не

---

[29] Примечания: 29

Мария-Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива. склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас…

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный пол-

тинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте. лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды… И вы хотите ослепить меня очками за полтинник…

Вечером я уехал в город. О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты…

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был Верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие

лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю… Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья…

У батьки нашего Махно

У батьки нашего Махно.
Впервые: журн. «Красная новь», 1924, № 4.

———

Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз. Я застал ее в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле может налить еврейку такими коровьими соками, навести такой сальный глянец на ее лицо. Ноги девушки, жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней ее девственности остались только щеки, воспламененные более обыкновенного, и глаза, устремленные книзу.

Кроме прислуги, в кухне сидел еще мальчонок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком, и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую

минуту. Не раз случалось мне заставать его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал себя по голому мальчишескому пузу, пел боевые песни и корчил победоносные гримасы, от которых сам же помирал со смеху. В этом мальчике воображение работало с необыкновенной живостью. Сегодня я снова застал его за особенной работой — он наклеивал на германскую каску полосы золоченой бумаги.

— Ты скольких вчера отпустила, Рухля? — сказал он и, сощурив глаз, осмотрел свою разукрепленную каску.

Девушка молчала.

— Ты шестерых отпустила, — продолжал мальчик, — а есть которые бабы до двадцати человек могут отпустить. Братва наша одну хозяйку в Крапивном клепала, клепала, аж плюнули хлопцы, ну та толстее за тебя будет…

— Принеси воды, — сказала девушка.

Кикин принес со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошел потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел свое отражение. Вид зеркала увлек его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется

под давлением изнутри форма его носа.

— Яс экспедицией уйду, — обернулся он к еврейке, — ты никому не сказывай, Рухля. Стеценко в эскадрон меня берет. Там по крайности обмундирование, в чести будешь, и товарищей найду бойцовских, не то что здесь, барахольная команда… Вчера, как тебя поймали, а я за голову держал, я Матвей Васильичу говорю, — что же, говорю, Матвей Васильич, вот уже четвертый переменяется, а я все держу да держу. Вы уже второй раз, Матвей Васильич, сходили, а когда я есть малолетний мальчик и не в вашей компании, так меня кажный может обижать… Ты, Рухля, сама небось слыхала евонные эти слова, — мы, говорит, Кикин, никак тебя не обидим, вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь… Так вот они меня и допустили, как же… Это когда они тебя уже в лесок тащили, Матвей Васильич мне и говорит, — сходи, Кикин, ежели желаешь. Нет, говорю. Матвей Васильич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться…

Кикин сердито засопел и умолк. Он лег на пол и уставился вдаль, босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос.

— Вот народ рассказывает за махновцев, за их

геройство, — произнес он угрюмо, — а мало-мало соли с ними поешь, так вот оно и видно, что каждый камень за пазухой держит…

Еврейка подняла от лохани свое налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после долгого перехода ставит на землю затекшие ноги. Оставшись один, мальчик обвел кухню скучающим взглядом, вздохнул, уперся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.

Иисусов грех

Иисусов грех. Впервые: «На хлеб». Однодневная газета Южного товарищества писателей в пользу голодающих. Одесса, 1921, 29 августа.

«… Коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью» (Е. Замятин. О сегодняшнем и о современном. // «Русский современник», 1924, № 2, с. 270).

———

Жила Аина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Лрина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Лрина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге и солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин,

хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч, подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, — да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем… Рассьшлюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая…

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскре-

сенье двойню… — И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут Спаситель.

— Околоточный небось потащит…

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ем не подумал… Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи…

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина, — возвестил тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет…

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, —

я от их серьезности почитай три раза в два года помираю…

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой…

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом, обнявшись, по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, — вон ведь куда

баба метнула, — купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полусапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем…

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мыю и прошу вас без скандалу удалиться…

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, — эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет

и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным, возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи…

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина…

— Что ж, господи, — отвечает ему женщина

неслышным голосом, — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую выдумала…

— Не желаю я с тобой вожжаться, — восклицает господь Иисус, — задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда…

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Тро-фимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу…

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три ме-

сяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю…

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал Спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой исделал…

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

История моей голубятни

История моей голубятни. Впервые: журн. «Красная новь», 1925, № 4. с подстрочным примечанием: «Данный рассказ является началом автобиографической повести».

По замыслу Бабеля, повесть должна была публиковаться в журнале полностью, но вторая ее часть появилась в том же году в альманахе «Красная новь» как отдельный рассказ под названием «Первая любовь». По этому поводу Бабель с огорчением писал Горькому, которому повесть была посвящена. Горький на посвящение ему «Истории моей голубятни» отозвался в письме А. К. Воронскому (в то время — редактор «Красной нови»): «С Вами Бабель? Пожмите ему руку, я очень благодарю его за посвящение мне «Голубятни», растет этот человек и все лучше пишет» (25. 6. 1925. «Архив М. Горького», т. X, кн. 2. М., 1965, с. 20).

Во всех последующих изданиях «История моей голубятни» и «Первая любовь» продолжали печататься как самостоятельные рассказы.

———

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню.

Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. 11о обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и

пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем

году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти (*тихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. ()ни тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной

бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок…

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо. — Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена

зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином

когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе[30], в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет

[30] Примечания: 30

Ешибот (иешива, иврит) — еврейская высшая духовная школа. Литовский городок Волжин славился своей иешивой, которая привлекала к себе учеников из многих стран. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него непохожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом. хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как

солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот. кому приходилось встречать Пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее,

чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки[31] вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «Виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам

---

[31] Примечания: 31

Кисти (на иврите — цицит), прикрепленные к четырем углам малого талеса (талес-котн), который религиозные евреи носят под верхней одеждой. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали

неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Се-мерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя ми-

мо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек.

Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шой-

ла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю…

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. — Видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен… Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы…

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, ('огревший мое сердце.

Толстой рукой калека разворошил турманов и вытащил на свет вишневую голубу. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя коле-

сами, подъехал ко мне, — голуби, — повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих…

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то да-

леко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках

портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к. нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки… Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул…

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный… Ты бы ему пятаков на глаза нанес…

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас…

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей пронзать обидно, я кацапов знаю…

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер…

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

Первая любовь

Первая любовь.

Впервые: альманах «Красная новь», 1925, № 1.

———

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с япон-

ской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты.

Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву…

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в

драгунские чикчиры[32], в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в

[32] Примечания: 32

Чикчиры — узкие кавалерийские брюки. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин… У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови…

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь, — прошептала она вдруг, — у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой…

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских

ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать… Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность… Ты подай ему, друг, слышь, подай…

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому…

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам… Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак

поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу? — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что…

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырь-ісу лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки.

Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу. Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна. Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навстречу, — человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье, — ты все им отдал… Паршивые копейки, — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика,

торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля. старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне: я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею…

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не

взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, — мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь очень красивые лежат, — вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком…

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет…

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика.

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам…

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач… Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к

себе газету «Сын отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «…Граждане свободной России, — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением…»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба… Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, — ой, Шойл,

дорогой человек…

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, как я жалею Шойла…

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило…

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к

помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим, сильным голосом, — как мы беспокоим вас, и милую Надежду Ивановну, и всех ваших… Как мне стыдно, милая Галина…

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала мать, — потерпи для мамы…

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда…

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицх-

ока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства.

Карл Янкель

Карл-Янкель. Впервые: журн. «Звезда», 1931, № 7.

———

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Бругмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Туг не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу

утром; синагога была хасидская, там доплясывались на Пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову[33] — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы

---

[33] Примечания: 33

В. М. Примаков (1897–1937) — советский военачальник, в Гражданскую войну командовал конным полком, дивизией и конным корпусом червонного казачества. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию.

Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Бычач, — ты должен двинуть это дело…

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье[34]. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином.

---

[34] Примечания: 34

Памятник в Одессе работы известного русского скульптора И. Мартоса (1754–1835). *Ришелье А. Э. Дю Плесси* (1766–1822) — градоначальник Одессы и генерал-губернатор Новороссийского края. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазками, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы… Печатайте мальчиков, толстые мамы…

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман

в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[35]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Наф-

---

[35] Примечания: 35
Брис *(брит)* — обряд обрезания *(евр.)*.

тула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось…

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол… Саша Светлов, фельетонист Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку. «Ты баран, Сема, — значилось в записке, — убей его иронией, убивает исключительно смешное… Твой Саша».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский у комы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району шестьдесят четыре тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы

Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, выряд ившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром,

другой работает на заводе Гена…

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла… Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики…

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу…

Если бы синедрион существовал в наши дни, Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда…

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно

было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками…

— Идем дальше, — сказал Линингг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть, — идем далее… Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице… Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо…

— Пользовали у доктора Дризо…

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить…

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Линингга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор

Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове…

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг. Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена…

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его…

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах… Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За две-

рью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика…

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором. крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались…

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле…

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное… Ночью запутают, днем не распутаешь…

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном

уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала: портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля.

Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить…

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется…

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком… Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя, мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет…

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой! — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене. Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так. как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты

не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…

Пробуждение

Пробуждение. Впервые: журн. «Молодая гвардия», 1931, № 17–18, сентябрь, с подзаголовком: «Из книги «История моей голубятни».

———

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец[36].

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо

[36] Примечания: 36

Миша Эльман (1891–1967), *Ефрем Цимбалист* (род.1889), *Яша Хейфиц* (р. 1901) — знаменитые скрипачи, О. Габрилович (1878–1931) — известный пианист и дирижер. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

к господину Загурскому[37]. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру[38] в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндра и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое

---

[37] Примечания: 37

Загурский — имеется в виду П. С. Столярский (1871–1944) — известный педагог, учивший Бабеля музыке. Его учениками были Давид Ойстрах, Борис Гольдштейн и многие другие выдающиеся скрипачи. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[38] Примечания: 38

Л. Ауэр — скрипач и крупнейший педагог, родом из Венгрии, долгое время — профессор Петербургской консерватории. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим рюдителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда…

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было

наследственное занятие в нашем роду Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. ()ни прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась. поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал

другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать

собственноручно… курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир… Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими… Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены…

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно…

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя

штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре[39], я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость

---

[39] Примечания: 39

Гемара — часть Талмуда. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось… С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись… Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой… Как это так — вода тебя не держит… С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой… Ты все больше никуда не смотришь…

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия…

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет… Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с краснова-

тым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним скверикомАлександровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролегала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк… Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. Опротестованных векселях, об особняках Миши Эльмана… Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, по-

чему это не пришло мне в голову… Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями…»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза…

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины

плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне…

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту… Я убью его… Конец…

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме…

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. До-

рога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия… Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула…

Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

В подвале

В подвале. Впервые: журн. «Новый мир», 1931, № 10,

с подзаголовком: «Из книги «История моей голубятни».

———

Я был лживый мальчик.

Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел

меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники разинув рты слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот

трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех. кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной.

Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и пред-

седателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к шестнадцатой станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь

дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь.

Море черное накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в

Александрию, в Египет…

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, — не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын ди-

ректора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить серд-

цем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно[40]. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа: когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных

[40] Примечания: 40

Судный день (Йом-Кипур) — день поста, молитвы и покаяния, который наступает через десять дней после Нового года. Рош-Гашоно (Рош-Хашана) — Новый год у евреев. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа,

стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья.
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел.
Но лишь ему последний долг отдать.
Так начинает игру Антоний.

Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом.
Но Брут его зовет властолюбивым.
А Брут — достопочтенный человек…
Он пленных приводил толпами в Рим.
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?..
При виде нищеты он слезы лил. —
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек…
Вы видели во время Луперкалий,

Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек…

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку… и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель…

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй

угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту.
Но ведь они почтеннейшие люди…

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты… Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног… Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее…

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током

Они теперь из ваших глаз польются.

Всем этот плащ знаком. Я помню даже.
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке.
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь.
Когда кинжал из раны он извлек…

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела кло-

чьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на полю, — это, право, ничего…

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу…

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду

с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать…

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

Гапа Гужва

Гапа Гужва. Впервые: журн. «Новый мир», 1931, № 10, с подзаголовком: «Первая глава из книги «Великая Криница». Авторская дата — «Весна 1930 г.».

В основу рассказа легли впечатления от поездки Бабеля в село Великая Старица (Бориспольский район под Киевом), оставившей, как он писал родным, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь». Во избежание недоразумений писатель изменил подлинное название села. Подробнее см. И. Смирин. И. Бабель в работе над книгой, коллективизации // Филологический сборник, вып. VI–VII. Алма-Ата, 1967.

———

На Масленной тридцатого года в Великой Кринице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту — порядок этот лет двадцать как был оставлен в Великой Кринице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Неве-

ста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром. Одну моняку достал красноармеец, приехавший на побывку, за другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам, она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и табурет, а на столе поллитра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот; свободной рукой она размахивала монякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Галой, трещал и разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом.

— Разве то баба, — ответили им сваты, — то черт, вдова наша…

Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку о выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала

дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду, жеребый ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие.

Плясали на свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по-городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались, словно в бою; в упрямой злобе обрывали друг другу плечи; как подшибленные, падали они на землю, выбивая дробь сапогами.

Шел третий день великокриницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры. Через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягли в лохани; они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли

черные липкие раны.

— Мы смертельные, — шептала Гапа, ворочая багром. Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок.

В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами.

Спускалась ночь. В оттаявших ямах угасали костры. Сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке. Через дорогу в сельраде зачадил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице.

— Ивашко, — закричала она, врываясь в сельраду. — ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь…

Ивашко был уполномоченный рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашко сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги.

— Не брезговай нашим крестьянством, — за-

кричала Гапа и топнула ногой.

— Я не брезговаю, — уныло сказал Ивашко, — только мне нетактично с вами гулять.

Притоптывая и разводя руками, Гапа прошлась перед ним.

— Ходи с нами каравай делить, — сказала баба, — все твои будем, представник, только завтра, не сегодня…

Ивашко покачал головой.

— Мне нетактично с вами каравай делить, — сказал он, — разве ж вы люди?.. Вы ж на собак гавкаете, я от вас восемь кил весу потерял…

Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу.

— Этот гражданин — чистое золото, — сказал ему вслед секретарь Харченко, — большую совесть в себе имеет, но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась…

Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепельный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью.

— Дождутся люди вороньковского судьи, — сказал Харченко, переворачивая газетный лист, — тогда воспомянут.

Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами.

— Почему ты должность свою помнишь, секретарь, — сказала баба, — почему ты смерти боишься?.. Когда это было, чтобы мужик помирать отказывался?..

На улице, вокруг колокольни, кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу.

В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина; спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на побирушку. Девушки поросли коротким, конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво.

— Бреши, бабуся Рахивна, — сказала Гапа и прислонилась к стене, — я тому охотница, когда брешут…

Под потолком Рахивна заплетала себе косицы, рядками накладывала на маленькую голову. У

края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни.

— Три патриарха рахуются в свете, — сказала старуха, мятое ее лицо поникло, — московского патриарха заточила наша держава, иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх… Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны… Грецкие попы прошли Холодный Яр, народ бачил их в Острогрaдском, к прощеному воскресенью будут они у вас в Великой Кринице…

Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней.

— Вороньковский судья, — очнувшись, сказала старуха, — в одни сутки произвел в Воронькове колгосп… Девять господарей он забрал в холодную… Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится… Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их… Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках…

Рахивна долго возилась, прежде чем улечься, разбирая лоскутики, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же

лежит на печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве[41]. Он сложился, как раздавленный, на самом краю и выгнул спину; жилетка вздыбилась на ней, голова его была всунута в подушки.

— Мужицкое кохання. — Гапа встряхнула его и растолкала. — Я добре знаю мужицкое це кохання… Отворотили рыло — чоловик от жинки — и топтаются… Не к себе пришел, не к Одарке…

Полночи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гринь ка вскинулся, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями.

«Верблюды такие, — подумала она, — откуда они ко мне?..

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей — за праздники мука подбилась у всех. В тумане, в пару рассвета проползла дорога.

---

[41] Примечания: 41

Лава — скамейка, лавка, прикрепленная к стене избы *(укр.)*.

На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого орла, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели.

— Ну, просыпались, — забормотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?.. — Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала, — сказал Трофим, — бабусю твою законвертовали… Голова рику приехал, секретарь райкому… Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья…

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снов? потянула вожжи.

— Трофиме, бабусю за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега.

— Кажуть, агитацию разводила про конец света…

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землей.

Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кну-

том.

Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках.

— Маты, — сказала старшая, сваливая мешки, — без вас приходила Одарка, взяла Гришку до дому…

Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат Прохання не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам псе преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки. Свист и треск Харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее.

— То есть первейший наш актив, товарищ судья, — Евдоким захохотал и потер ладони, — вдова наша, всех парубков нам перепортила…

Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского, узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте».

— В колгосп первая записалась, — силясь разогнать тучу, Евдоким сыпал словами, — потом добрые люди подговорили, она и выписалась…

Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице.

— …А кажуть добрые люди, — произнесла она звучным, низким своим голосом, — кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет…

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— …А я этому противница, гуртом спать, мы подвох любим, и горилку, батькови нашему черт, любим…

Мужики засмеялись и оборвали. Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул

ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокриницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися.

Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи.

— Что ты, диду? — спросила Гапа.

— Журюсь, — сказал дед.

Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тягая ртутным языком повис огонек — Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лавку брошен был тулуп, судью ждал ужин — миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза — судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского.

Он жевал хлеб и луковицу и разостлал перед собой «Правду», инструкции райкома и сводки Наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина, накрест стянутая шалью, переступила

порог.

— Судья, — сказала Гапа, — что с блядями будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет, — сказал судья, — только другое, лучшее.

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди.

— Спасыби на вашем слове…

Монисто зазвенело. Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарики туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.

Конец богадельни

Конец богадельни. Впервые: журн. «30 дней», 1932, № 1.

С подзаголовком: «Из одесских рассказов»;

Авторская дата: «1920–1929».

———

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

От того, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор. пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве…

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел

кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда… Герш заслужил у Республики…

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках…

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов…

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя

в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала ему Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из

тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть…

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно…

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть…

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье, — пробормотал он, — свет — бордель, люди — аферисты…

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей

помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье, — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты…

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть… У нас на руках нет мяса…

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина.

Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившем себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента… За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь…

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспуб-

лики, где крупные количества татар голодают, как безумные… Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков…

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени…

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя… Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас Советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни… Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб…

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как

языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что Советская власть уже наступила…

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей… Всем без гробов лежать…

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загиба-

лась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль молей рахим»[42] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

---

[42] Примечания: 42
Заупокойная еврейская молитва.

— «Гэвэл гаволим»[43], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить… «Кулой гэвэл»[44]…

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь…

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл…

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой

---

[43] Примечания: 43
Суета сует *(евр.).*

[44] Примечания: 44
И всяческая суета *(евр.).*

путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он

снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч. — мы работы не бежим… О нас пусть спросят в Екатери-нославе… Екатеринослав знает нашу работу…

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить… Со мной можно ладить… — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу…

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лоще-

ные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти…

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать. — Заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается…

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек… Двигай…

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный… Но теперь ему объяснили, и он извиняется…

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо…

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных кантонов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

Дорога

Дорога. Впервые: журн. «30 дней», 1932, № 3. Датировано: «1920–1930».

———

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года.

Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи-галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горя-

чей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место…

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбра-

сывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай…

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф[45], Хаим…

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный

---

[45] Примечания: 45
Беги *(евр.)*.

полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной. Уходи, родной гражданин…

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги: палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать…

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит… Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется…

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в

париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу. Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Горо-

ховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он там теперь…

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и

повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви[46].

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, об-

---

[46] Примечания: 46

*Иегуда Галеви (*ок. 1080 — ок. 1145) — еврейский поэт и философ, величайший из еврейских поэтов Средневековья — представителей еврейско-испанской поэзии на иврите. Родился и жил в Толедо. В конце жизни отправился в Палестину и, по преданию, был убит арабским всадником «в самом конце пути» — у ворот Иерусалима. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

литая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный, точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово… Тебя здесь надо…

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и… проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без

спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять…

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны[47], надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и

[47] Примечания: 47

Мария Фед0ровна(1847–1928) — жена русского императора Александра Третьего (1845–1894). — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида[48] русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majeste, l'Empereur de toutes les Russles[49], — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена…»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была. — сказал он, — авось не считаны… Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское… А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки…

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

---

[48] Примечания: 48

Абдул-Хамид II (1842–1918) — турецкий султан с 1906 по 1909 г. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[49] Примечания: 49

Его величеству императору всероссийскому *(фр.)*.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве. пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе Преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю…

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Че-

ка, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким[50]. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них… Языки знает…

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

---

[50] Примечания: 50

М. С. Урицкий (1873–1918) — председатель петроградской ЧК. Убит молодым поэтом Канегиссером. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Гюи де Мопассан

Гюи де Мопассан. Впервые: журн. «30 дней». 1932, № 6.

В беседе с сотрудниками журнала «Смена» (сентябрь 1932 г.) Бабель говорил, что рассказ этот был написан им в 1920–1922 гг. и «представляет собой творческий опыт, этюд, не претендующий на показ социального облика Мопассана как писателя». Свое решение опубликовать рассказ в 1932 г. объяснил тем, что огромная роль Мопассана стала особенно ясна ему именно теперь, после посещения Франции в 1931 г. «Этот писатель, — говорил он в той же беседе, — непопулярен на своей родине, недаром он с такой убийственной точностью показал быт Франции. В рассказе… я хотел лишь сказать о необычайном мужестве этого человека. Я еще буду писать о Мопассане и в новом рассказе постараюсь раскрыть его образ» («Смена», 1932, № 17–18).

Под именем Алексея Казанцева в рассказе изображен товарищ Бабеля по работе в газете «Новая жизнь» в 1918 г. Кудрявцев: «Вы помните Кудрявцева из «Новой жизни»? Он изучал испанский

язык, у него было необыкновенной красоты издание «Дон-Кихота» на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу, Кудрявцев читал ее с упоением» (из письма Бабеля А. М. Горькому 25 июня 1925 г.).

———

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него

была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На Рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пи-

джак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука. надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью,

заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома, в мансарде Казанцева, — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна

заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человече-

ского сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря…

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил… Его религия — страх… Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры…

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, что-

бы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебри-

стое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики: под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мрамор-

ные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю…

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает…

Я никогда не имел дела с мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки. где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик… Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»…

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France[51]…

Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином

---

[51] Примечания: 51
Солнце Франции… *(фр.).*

и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: Когда же мы позабавимся, ma belle?»[52] — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери… Парень с девкой — музыки не надо…» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte[53]… За два года Селеста пере-

---

[52] Примечания: 52
Красавица *(фр.).*

[53] Примечания: 53
Этот пройдоха Полит… *(фр.).*

платила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит…»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte…

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо…

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux[54], за Мопассана…

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle…

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был

---

[54] Примечания: 54
Старина *(фр.)*.

самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит…

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската восемьдесят третьего года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью… Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком… и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся

на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль[55] — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Афри-

---

[55] Примечания: 55

Edoyard de Mayneal. «La vie et L'oey vre de Gui de Maypassant», Paris, 1907.

Во всех посмертных изданиях из этого рассказа изымалась фраза: «и поедал свои испражнения». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

ку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках… Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»).

Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели, туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

Улица Данте

Улица Данте., Впервые: журн. «30 дней», 1934, № 3.

Рассказ был иллюстрирован художником Ю. Пименовым.

В основе рассказа — реальное событие: Бабель присутствовал на суде, где разбиралось дело женщины, ставшей прототипом героини рассказа. Впечатления от этого суда легли в основу очерка Бабеля «Последнее убийство».

———

От пяти до семи гостиница наша «Hotel Danton»[56] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу — в этом никто

---

[56] Примечания: 56
Отель Дантон *(фр.).*

нам не откажет…

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie…[57]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins[58].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare[59]. Бьеналю стоило большего труда представить меня оби-

---

[57] Примечания: 57
Нужно переделать вашу жизнь… *(фр.).*

[58] Примечания: 58
Винный рынок *(фр).*

[59] Примечания: 59
Вокзал Сент-Лазар *(фр.).*

тательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «Рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[60]. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате

[60] Примечания: 60
Королевская улица *(фр.)*

раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга «и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean[61]...

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь; они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему»[62] в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы

[61] Примечания: 61

О, Жан... *(фр.).*

[62] Примечания: 62

Богема» (1895) — опера итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858–1924). — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

tallleur[63]. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила

---

[63] Примечания: 63
Английский дамский костюм *(фр)*.

день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean… и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулату с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle[64], — ответил он и стал ежиться, — то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот. — все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее… Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли…

---

[64] Примечания: 64
Эта женщина сумасшедшая *(фр.).*

куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен…

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— …Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en al pleln le dos[65]…

Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают деви-

---

[65] Примечания: 65
О, у меня достаточно хлопот… *(фр.).*

цам с Rue de la Galte[66]. Женщина улыбнулась углом карминного рта. наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille[67]! — сказал им вслед Бьеналь. — Два года назад с нее довольно было аперитива…

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной

---

[66] Примечания: 66
Улица Веселья *(фр.)*.

[67] Примечания: 67
А, каналья! *(фр.)*.

по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке…

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи, — они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем. груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai, — сказал я, входя, — quel Malheur[68]!

— C'est l'amour, monsieur… Elle l'aimait…[69]

Под кружевцем вываливались лиловые груди

---

[68] Примечания: 68
Вот кому невесело. Какой ужас! *(фр.).*

[69] Примечания: 69
Это любовь, сударь… Она любила его… *(фр.)*

мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore, — как это сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте. — Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore[70]…

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour, — наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — c'est une grosse affaire, Famour[71]…

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio, — произнесла синьора Рокка, — tu non

---

[70] Примечания: 70

Любовь. Бог наказывает тех. кто не знает любви… *(ит.)*

[71] Примечания: 71

Любовь… это великое дело, любовь… *(фр.)*

perdoni quelli, chi non ama[72]…

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон[73] полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

---

[72] Примечания: 72

Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит… *(ит.)*

[73] Примечания: 73

Жорж-Жак Дантон (1759–1794) — деятель Великой французской революции. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Ди Грассо

Ди Грассо. Впервые: журн. «Огонек», 1937, № 23 (604).

———

Мне было четырнадцать лет.

Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо[74] и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо

[74] Примечания: 74

Джузеппе Ансельми (1876–1929) и *Титта Руффо* (1877–1953) — знаменитые итальянские оперные певцы, гастролировавшие в России. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

него приехал сицилианский трагик ди Грассо[75] с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар…

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом.

Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая *с* приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь,

---

[75] Примечания: 75

Грассо Ди (1873–1930) — знаменитый итальянский трагик, уроженец Сицилии. В рассказе Бабеля описывается спектакль по народной пьесе «Feuda Usmo», где актер, игравший пастуха, перегрызает горло своему сопернику. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга…

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нише с раскрашенной статуей Святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — Святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня… Джованни, приехавшему из города. Святая дева даст столько женщин, сколько он захочет: мне же никто не нужен, кроме вас, синьора… Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора…

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба… Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее…

В третьем действии приехавший из города

Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог

хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»[76], но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

---

[76] Примечания: 76
«Граф Кентский» *(англ).*

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь…

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька, — называют эти мужья своих жен, — золотко, деточка…

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы…

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки… Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

Суд

Суд. Впервые: журн. «Огонек», 1938, № 23, с подзаголовком: «Из записной книжки».

———

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens[77] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix[78].

— Acces de folie passagere[79], — определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар.

Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где

---

[77] Примечания: 77
Итальянский бульвар *(фр.).*

[78] Примечания: 78
Улица Мира *(фр.).*

[79] Примечания: 79
Припадок временного безумия *(фр.).*

пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Уреа на арену цирка. В зале суда французы в небрежно сшитых пиджаках громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гербом республики — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами в тоге и в шапочке.

— Eh bien, Nedatchine[80], — сказал он, увидев обвиняемого, — eh bien, mon ami[81]. — И картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine, — звучно говорил председатель, — вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции… Офицер царской армии, вы эми-

---

[80] Примечания: 80
Итак, Недачин *(фр)*.

[81] Примечания: 81
Итак, друг мой *(фр.)*.

грировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе… Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности, — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его, — разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж… В Париже… — Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу. — В Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть… Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар…

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— Voyons[82], — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала жирная женщина без шеи, похожая на

---

[82] Примечания: 82
Ну вот *(фр.)*.

рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам, — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом.

Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, мой друг, — кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фрунт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— Та encaisse dix ans[83], — сказал жандарм за его спиной, — c'est find, mon vieux[84]. — И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

[83] Примечания: 83
Тебе дали десять лет *(фр.)*.

[84] Примечания: 84
Все кончено, старина *(фр.)*.

Мой первый гонорар

Мой первый гонорар. Впервые: альманах «Воздушные пути», кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

———

Быть весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались, как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась

неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути, — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи ис-

торий. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся

голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною.

Вера обернулась:

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные

к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек, сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары…

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом…

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы Святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него при-

шла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого… На Михайловском с восточной кухней знаешь какие дела можно поднять…

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масленую бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпен-

ке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом…

В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала она. — Поверишь, она нам всем как родная была… Старушка одна едет, ни попутчика, никого…

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза

ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель...

О боги моей юности!.. Как непохожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев

за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг…

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда…

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко…

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?..

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?..

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь, мальчик у армян…

О боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская

проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года…

— Да лет-то тебе сколько было тогда?..

— Пятнадцать…

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Ивано-

вич оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло — я не ударил пальцем о палец… У меня другое было на уме — бильярд… Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию…

Бронзовые векселя… Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

— …Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте…

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

— Церковный староста, — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую

грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами… Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа…

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то… Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера, не оборачиваясь, — боже, чего делают…

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой… Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха… Наша сестра — стерва…

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва…

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче. — Боже, чего делают… Ну а баб ты знаешь?..

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет… Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, — сестричка моя, бляха…

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят

стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу, я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать вам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятируб-

левки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

Фроим Грач

Фроим Грач. Впервые: альманах «Воздушные пути», кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

«Горький лично отобрал для созданного им же альманаха «Год XVI» три новых рассказа Бабеля («Нефть», «Улица Данте» и «Фроим Грач»), дав им исключительно высокую оценку. И тем не менее редколлегия во главе с будущим сталинским любимцем Александром Фадеевым отвергла их все, а Фадеев, вопреки суждению Горького, начертал резолюцию: «Рассказы, по-моему, неудачны, и лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напечатаем» (Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький: последние двадцать лет. М., 1999, с. 290).

Помимо Фадеева, в редколлегию альманаха «Год XVI» входили В. Ермилов, В. Кирпотин, П. Павленко.

———

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они

потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к целям поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию… Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы…

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, — мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем… Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. — Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, — ты еще смеешься… У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову… Пойди, имей беседу с твоей дочерью…

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Васьки. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха… — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью… Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце… Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать…

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью…

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на

усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Си-мен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами…

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик

стола.

— Я пустой, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет, и в чоботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил… Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену…

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет…

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная… Такого стари-

ка не убить, ему б износу не было… В нем десять зарядов сидит, а он все лезет…

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие…

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет… Как это так можно, чтобы все одинакие…

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю…

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к

нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить…

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком…

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен…

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое…

Закат

Закат. Впервые: газ. «Литературная Россия», 1964, 20 ноября.

———

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын, — сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша, — ответил Левка, — возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка, — сказал сын. — Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу, — сказал папаша Крик, — а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель. — завизжала она. — набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет…

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Венчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем.

— Бенчик, — сказал он, — возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время, — ответил Бенчик, — но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени

дорогу. Оно тронулось в путь — время, древний кассир, — и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима

Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета «Скорой помощи», и Манассе неутомимо висел на железной руке.

— Папаша, — сказал тогда отцу Левка, — в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром

воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

— Время идет, — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась, — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась, — говорил он и смеялся, как дитя, — горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин. — сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги, — ответил папаша, — и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик, — сказала она, — я любила тебя, будь ты проклят. — И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда не

было больше десяти.

— Убьем папашу. — сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Погрома, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили коров уже в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы, — кричала она, — свои бабы и чужие бабы. Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла

Двойра Крик, для того чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме «Мендель Крик и Сыновья».

— Аминь, в добрый час, — ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за

пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Венчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец, — сказал он, — мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать, — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас…

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и… умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Венчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть

слышно и опустил кнут. — Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос.

— За Левку, — сказала она, — за Венчика, за меня, Двойру, и за всех людей, — и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая как воробей.

— Не молчи, Мендель, — сказала она шепотом, — кричи что-нибудь, Мендель…

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что

старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.

— Каюк, — сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка, — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного, — сказал Пятирубель, — позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика…

— Уже вечер, — прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся, — уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб, — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину, — не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг

сказал:

— Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок наутро, бо мне надо возить отходы…

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами.

— У меня нет площадок, — сказал папаша Крик, — меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из

заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней Королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу-Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку, — сказал тогда Бенчик младшему брату, — держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается

мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон, наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора

и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с, — приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим, — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой. — Анисим, сердце мое, отопри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин, — сказал он, — прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин…

— Ты отопрешь мне ворота, — прошептал папаша еще тише, — я знаю это, Анисим, сердце мое…

— Вернись в помещение, Анисим, — сказал тогда Венчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть

такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Венчик, — сказал старый Крик, отступая, — где конец мучениям твоего отца…

— О низкий отец, — ответил Венчик, — как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. — Я мог Венчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. — Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои. непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много…

— Папаша, — ответил Беня, не поднимая глаз, — вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай, — кричала она, катаясь по земле, — Мен-

дель Погром и сыны мои, байстрюки мои… Что вы ('делали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость…

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор, — ревела мадам Горобчик, и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их, — старый вор, мой старый Мендель…

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти как грушу.

— Бенчик, — сказал он, — мы мучаем старика… Слеза меня точит, Бенчик…

— Слеза тебя точит, — ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. — О низкий брат, — прошептал он, — подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под но-

гами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков. Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим, — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на ан-

глийский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный…

— Какую робу желаете вы себе справить? — спросил тогда Бенчик папашу Крика. — Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца, — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза, — такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский, — прервал отца Беня, — то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский подался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль, — сказал он.

— Моя мысль такая, — ответил Беня…

ЗАКАТ
(пьеса)

Закат
(пьеса)



Закат. Впервые: журн. «Новый мир», 1928, № 2, февраль.

Первый вариант пьесы был создан за полтора года до ее публикации и с не свойственной Бабелю быстротой: «В Ворзеле за девять дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни, в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года» (из письма 26 августа 1926 г). В сентябре 1926 г. пьеса была переписана заново. В октябре того же года Бабель решился прочесть ее людям, мнением которых дорожил: «Пьеса моя произвела на слушателей — Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра — благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде» (из письма 18 октября 1926 г.).

В конце марта и начале апреля 1927 г. писатель снова проверяет очередной вариант пьесы на слушателях: устраивает публичные чтения в Одессе и Виннице. Только 22 июня того же года после новой переработки он посылает рукопись В. Полонскому, бывшему тогда главным редактором «Нового мира».

Первая постановка «Заката» состоялась в Баку

(премьера 23 октября 1927 г… Бакинский рабочий театр, режиссер В. Ф. Федоров), а через два дня — вторая, в Одессе (Одесский театр русской драмы, режиссер А. Л. Гринич). По отзывам прессы, одесская постановка была более удачной, более «бабелевской». В Москве постановку «Заката» осуществил МХАТ 2-й (режиссер Б. М. Сушкевич). Премьера состоялась 28 февраля 1928 г. Несмотря на участие в пьесе лучших актеров театра (Двойра — Бирман, Беня Крик — Берсенев, Мендель Крик — Чебан), спектакль успеха не имел и после шестнадцати представлений сошел со сцены.

«Театр не сумел передать зрителю тонкости комедии, с виду грубоватой, и если они продолжают вывешивать афишу, это, ясное дело, обусловлено тем, что там есть много моего, а не тем, что идет от театра, моту сказать это без тщеславия» (из письма Бабеля 2 апреля 1928 г.). В 60-е гг. пьеса обретает второе рождение на театральной сцене. В 1965 г. «Закат» был поставлен в будапештском театре «Талия», в театре «Габима» (Израиль), в 1966-м — в Национальном театре Праги. По мотивам пьесы и двух одесских рассказов осуществлена постановка музыкального спектакля «Закат» в Рижском русском драматическом театре (премьера — 31 марта 1987 г.). Свою версию

пьесы создал Московский академический театр им. В. Маяковского (премьера — 15 января 1988 г.).

———

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.

Нехама — его жена, 60 лет.

Беня — щеголеватый молодой человек, 26 лет.

Левка — гусар в отпуску, 22 года.

Двойра — перезрелая девица, 30 лет.

Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.

Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.

Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.

Бен Зхарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.

Фомин — подрядчик, 40 лет.

Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.

Маруся — ее дочь, 20 лет.

Рябцов — хозяин трактира.

Митя — официант в трактире.

Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.

Мадам Попятник — его жена. Сплетница с неистовыми глазами.

Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.

Семен — лысый мужик.

Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.

Вайнер — гундосый богач.

Мадам Вайнер — богачиха.

Клаша Зубарева — беременная бабенка.

Мосье Боярский — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».

Сенька Топун — кантор Цвибак.

Действие происходит в Одессе, в 1913 г.

Первая сцена

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги. Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично… Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы… Сначала рубят лозу, потом рубят человека… Матери в нашей жизни роли не играют… Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка*(хохочет. В грубом его голосе движутся громы)*. На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту… Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Левка. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.

Двойра. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Нехама*(ни на кого не глядя, бурчит себе под нос)*. Посмотри в комоде.

Двойра. Я смотрела в комоде — нету.

Нехама. В шкафу.

Двойра. В шкафе нету.

Левка. Какое платье?

Двойра. Зеленое с гесткой.

Левка. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Двойра входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Двойра*(деревянным голосом)*. Ох, я умру!

Левка*(матери)*. Вы небось признались ему,

старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?.. Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Двойра. Ох, я умру! *(Она разражается громким плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.)* Нате вам!..

Нехама. Издохни! Сегодня издохни…

Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Беня*(вывязывает галстук)*. Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям! Арье-Лейб. Ты это про отца, Левка?

Левка. Пусть не будет босяком.

Арье-Лейб. Отец старше тебя на субботу.

Левка. Пусть не будет грубияном.

Беня*(закалывает в галстук жемчужную булавку)*. В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится…»

Левка*(матери)*. Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить…

Арье-Лейб. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Беня*(вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки)*. Здоровье присутствующих!

Левка*(грубым голосом)*. Будем здоровы.

Арье-Лейб. Чтобы было хорошо.

Левка*(грубым голосом)*. Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается мосье Боярский, бодрый круглый человек. Он сыплет без умолку.

Боярский. Привет! Привет! *(Представляется.)* Боярский… Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

Арье-Лейб. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Боярский*(усаживается и берет из рук старухи стакан чаю)*. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

Арье-Лейб. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Боярский. Через день, как часы.

Арье-Лейб*(старухе)*. Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Боярский. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони…

Арье-Лейб. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Боярский. Я захаживаю к Фанкони.

Арье-Лейб*(победоносно)*. Он захаживает к Фанкони!.. *(Старухе.)* Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Боярский. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

Арье-Лейб*(с упоением)*. Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку…

В комнату вплывает Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Боярский*(вскакивает)*. Привет! Боярский. Двойра *(хрипло)*. Очень приятно.

Все садятся.

Левка. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Боярский. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

Арье-Лейб. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост… Лазарь, вы не имели права родиться!

Боярский. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество, — Боярский интересуется счастьем… Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

Арье-Лейб*(старухе)*. Положите на костюм пять

рублей чистых, я не скажу — десять…

Боярский. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

Арье-Лейб. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет… Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Беня*(разливает вино)*. Исполнение обоюдных желаний.

Левка*(грубым голосом)*. Будем здоровы!

Арье-Лейб. Пусть будет хорошо.

Боярский. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала… Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются… Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда… Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз… Заметьте, что это большая редкость,

чтобы француз был из себя видный… поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы…

Левка. Крыша?

Боярский. Сукно, верх для шубы… Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков…

Левка. Я люблю раков.

Арье-Лейб. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Боярский. …и скушать десять раков…

Левка*(грубым голосом)*. Я люблю раков!

Арье-Лейб. Рак — это же жаба.

Боярский*(Левке)*. Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто

процентов выродки и бильярдисты. Это говорю вам замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала…

Беня. Боярский!

Боярский. Я.

Беня. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Боярский. Двубортный, однобортный?

Беня. Однобортный.

Боярский. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Беня. Фалды круглые.

Боярский. Сукно ваше или мое?

Беня. Сукно твое.

Боярский. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Беня. Какой лучше?

Боярский. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно

— это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Беня. Возьмем английское. Боярский. Доклад ваш или мой? Беня. Доклад твой. Боярский. Сколько вам обойдется? Беня. Сколько мне обойдется?

Боярский*(осененный внезапной мыслью)*. Мосье Крик, мы сойдемся!

Арье-Лейб. Вы сойдетесь!

Боярский. Мы сойдемся… Я начал про Фанкони.

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит Мендель Крик с кнутом и Никифор, старший кучер.

Арье-Лейб*(оробел)*. Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским…

Боярский*(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

Арье-Лейб*(заикаясь)*. Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц…

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор*(прислонился к косяку двери и уставился в потолок)*. Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

Мендель. Почему с нас люди смеются?

Никифор. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе… Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

Мендель. Приказание дал?

Никифор. Приказание дал.

Нехама*(стянула сапог, размотала грязную портянку, Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы)*. Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Беня*(отставив мизинец, пьет вино)*. Обоюдное исполнение желаний.

Левка. Будем здоровы.

Никифор. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не приказывал… А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пироги, варенье — все полетело на пол.

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор*(угрюмо)*. Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин *(он подходит*

к Никифору и берет его за грудь), а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей его в душу, в жилы, в глаза... *(Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.)*

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

Арье-Лейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил Высших женских курсов...

Боярский. ...так я поверю вам без честного слова.

Беня*(подает Боярскому руку)*. Зайдешь другим разом, Боярский.

Боярский. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет!

Зайду другим разом. *(Исчезает.)*

Беня встает, закуривает папироску, перекидывает через руку щегольской плащ.

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...» Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику *(он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее).*

В комнату входит Никифор. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Беня. Заложи мне гнедого в дрожки!

Никифор*(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови).* Расчет мне дайте...

Беня*(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом).* Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...

Вторая сцена

Ночь. Спальня Криков. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. Старик и Нехама на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.

Нехама. У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

Мендель. Дай жить, Нехама. Спи!

Нехама. ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

Мендель. Дай дыхать, Нехама! Спи.

Нехама. …Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело…

Мендель. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Нехама. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья… Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне…

Мендель*(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут евреи?

Нехама. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья…

Мендель. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Нехама. Не пустят, не пустят в синагогу.

Мендель. Карбованец с откусанным углом мне дали твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Нехама. А кацапы что тебе дали, что кацапы

тебе дали?

Мендель*(укладывается).* О, кляча на мою голову!

Нехама. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки… Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

Мендель. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину…

Нехама. Горячий как печка… Как мне стыдно, бог!.. *(Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотанье.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками…

Мендель. Делай ночь, Нехама.

Нехама*(плачет).* Люди цацкаются с внуками…

Входит Беня. Он в нижнем белье. Беня. Может быть, хватит на сегодня, молодожены? Мендель приподымается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

Мендель*(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье).* Ты… ты вошел?

Беня. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

Мендель. Ночью, ночью ты вошел?

Беня. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклокоченная грязно-серая голова Нехамы.

Мендель. Ночью, ночью ты вошел…

Третья сцена

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон (в просторечии Майор) Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его в чем-то горячо убеждает пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.

Мендель*(бьет кулаком по столу).* Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело…

Мендель. Темно!

Митя*(Рябцову)*. Добавку освещения требует.

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть!

Мендель. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, скрозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели…

Мендель. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал…

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать. Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

Мендель. А ты сказывал — человек через моря лететь может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов*(с твердостью)*. Может.

Мендель*(сжимает ладонями лохматую голову)*. Конца нет, краю нет… *(Рябцову.)* Поеду. В Бессарабию поеду.

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу, то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой…

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил.

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Голос из трактира. Годов ему всех шестьдесят два.

Рябцов. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

Мендель. Рябцов, я бога хитрей.

Рябцов. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.

Митя. Со светлым тебя, значит, Христовым

воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.

Голос из трактира. Из ночи день делаем, Мендель?

Мендель. Конца нет.

Потаповна*(дергает Урусова за рукав)*. Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин… Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям к этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонка задичится, я ее раздичу…

Голос из трактира. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

Потаповна*(кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее)*. Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь

будет... Мендель, золотко, я же садовница, я папочкина дочка!..

Мендель*(идет к стойке)*. Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Рябцов. Ставь. Кто тебя не пущает?

Голос из трактира. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

Мендель. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Колеблясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.

Митя*(Урусову шепотом)*. Фомину приходить или рано? Урусов. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор! Голос из трактира. И прибавлять нечего,

хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — слепцы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец Пятирубель, азартный человек, друг Менделя.

Пятирубель. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались… Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

Мендель*(бросается к запевале, рябому рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

Слепой*(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин!

Мендель. Песню, Федя, последнюю мою!..

Слепой. «Славное море» — споем?

Мендель. Последнюю мою…

Слепые*(настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Плыть молодцу недалечко.

Мендель*(швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском)*. Бей!

Пятирубель. Ох, и герой же, сукин сын!

Митя*(Рябцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Слепые*(поют)*.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя…

Мендель*(ударом кулака вышибает оконную раму)*. Бей.

Пятирубель. Сатана, а не старик!

Голоса из трактира:
— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито… Обыкновенно гуляет.

— Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер… Обыкновенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Рябцов. Поди разбери причину. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет…

Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала…

Потаповна*(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

Пятирубель. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил…

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой…

Мендель. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Голоса из трактира:
— Чисто слон!
— У нас и слоны слезами плакали…
— Это врешь, слоны не плачут…
— Говорю тебе, слезами плакал…
— В зверинце я слона одного задражнил…

Митя*(Урусову)*. Фомину приходить или рано? Урусов. Рано.

Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет. Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дырова-

тый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты…

Страшными, радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

Митя. И всё?

Запевала. Хватит.

Мендель*(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

Митя*(Урусову)*. Фомину взойти или рано? Урусов. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Фомин. С приятным заседанием!

Урусов*(Менделю)*. Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. *(Вытаскивает*

исписанный лист бумаги.) Читать, что ли?

Фомин. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение.

Мендель*(во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается).* Я песни приказывал…

Фомин. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

Урусов*(читает очень картаво).* «…Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано…»

Пятирубель. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь…

Урусов. «…А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные…»

Мендель*(указывает пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу).* Вон человек

сидит, обсуждает меня.

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Фомин. Авось не убьет.

Рябцов. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

Потаповна*(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Фомин. Вот, дорогой, тут и распишись.

Потаповна*(хлопает Фомина по груди)*. Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!

Мендель. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним.)* И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы.

Фомин*(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

Мендель*(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

Митя. Вот те и скука — платить надо.

Мендель. Уйди!

Митя. Врешь, уплатишь!

Мендель. Убью!

Митя. Ответишь.

Мендель*(кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина)*. Уйди, я спать буду…

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

Пятирубель. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

Митя*(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Фомин*(Потаповне).* Суешься попередь батьки… Стучишь языком, как собака бегает… Всю музыку испортила!

Потаповна*(выжимает слезы из грязных мятых морщин).* Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Фомин. Жалеть умеючи надо.

Потаповна. Жиды, как воши, обсели.

Фомин. Жид умному не помеха.

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Фомин*(грозно, медленно).* А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

Четвертая сцена

Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Голос соседки. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

Потаповна. Да приду к вам, проведаю…

Голос соседки. А то в одном ряду на птичьей двенадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

Потаповна. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться…

Голос соседки. Видно, что не век.

Потаповна. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Голос соседки. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай…

Потаповна*(смеется, тучное ее тело сотрясается).* Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Голос соседки. Девка-то, говорят, худая.

Потаповна. У кости, милая, мясо слаще.

Голос соседки. Сыны, слышь, против вас копают…

Потаповна. Девка сынов перетянет.

Голос соседки. И я говорю — перетянет.

Потаповна. Старик, небось, девку не бросает.

Голос соседки. Сады, слышь, он вам покупает…

Потаповна. А еще чего люди говорят?

Голос соседки. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

Потаповна. Разберем. Я разберу… Про полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

Потаповна. Пятьдесят!

Голос соседки. Башмаков пару…

Потаповна. Три!

Голос соседки. Очень смертно любят старики.

Потаповна. Видно, к курям-то мы не присуждённые…

Голос соседки. Видно, не присужденные. Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

Потаповна. Приду. Проведаю вас… Прощай, милая!

Голос соседки. Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входит Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся.

Маруся*(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

Потаповна*(слезая со стула)*. А чего купить?

Маруся. Кавуны купите, бутылку вина, коп-

ченой скумбрии полдесятка… *(Менделю.)* Дай ей рубль.

Потаповна. Не хватит рубля.

Маруся. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

Потаповна. Не хватит мне рубля.

Маруся. Хватит! Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

Маруся. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)*…Пришли на кладбище, глядим — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен…

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую… *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иваныч, тот мне все бутерброды мажет… Я Ксеньке в пику и говорю… Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили… *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель)*: айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго.)* А у Ксеньки-то спина, небось, полна прыщей, и ноги три года не мыла… Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину*

стянутым платьем): ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на стариковы деньги позарилась, ну тебя отошьют от этих денег… *(Маруся сняла платье и прыгнула в постель.)* А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак… Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка…

Мендель. Марусичка!

Маруся. Скажи — Марусичка, солнышко мое…

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

Пятая сцена

Синагога общества извозопромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор Цвибак в талесе и сапогах. Прихожане, красномордые извозчики, оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова ревут, как разбуженные волы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних еврея, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными набок. Арье-Лейб, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями мальчика лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Беня Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

Кантор*(возглашает).* Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Арбоим шоно окут бдойр вооймар… *(Сдавленным голосом.)* Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню… *(Подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Еврей*(раскачивается)*. Поднялось.

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживем, будет шестьдесят.

Кантор. Лифней адонай ки во мишпойт горец…[85] Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Довольно кричать, буян.

Кантор*(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб*(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во… Ой, стою, ой, стою перед господом…

---

[85] Примечания: 85
Перед лицом господа бога — силы моей… *(евр.)*

Как стоит овес?

Второй еврей*(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре…

Арье-Лейб. С ума сойти!

Второй еврей*(раскачивается с ожесточением)*. Будет рупь десять, будет рупь десять…

Арье-Лейб. С ума сойти! Лифней адонай ки во, ки во…

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Беня*(склонился над молитвенником)*. Ну?

Сенька*(за спиной Бени)*. Есть дело.

Беня. Какое дело?

Сенька. Оптовое дело.

Беня. Что можно взять?

Сенька. Сукно.

Беня. Много сукна?

Сенька. Много.

Беня. Какой городовой?

Сенька. Городового не будет.

Беня. Ночной сторож?

Сенька. Ночной сторож в доле.

Беня. Соседи?

Сенька. Соседи согласны спать.

Беня. Что ты хочешь с этого дела?

Сенька. Половину.

Беня. Мы не сделали дела.

Сенька. Докладываешь батькино наследство?

Беня. Докладываю батькино наследство.

Сенька. Что ты даешь?

Беня. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом.

Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка!

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!

Кантор*(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова…

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк!..

Кантор*(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!

Арье-Лейб*(визжит).* Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше… Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

Сенька*(хлопает кулаком по молитвеннику).* Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

Кантор*(торжественно). Мизмойр лдовид*![86]

Все молятся.

Беня. Ну?

Сенька. Есть люди.

Беня. Какие люди?

Сенька. Грузины.

Беня. Имеют оружие?

Сенька. Имеют оружие.

Беня. Откуда они взялись?

---

[86] Примечания: 86
Песнь Давида! *(евр.)*

Сенька. Живут рядом с вашим покупателем.

Беня. С каким покупателем?

Сенька. Который ваше дело покупает.

Беня. Какое дело?

Сенька. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.

Беня*(оборачивается)*. Сказился?

Сенька. Сам говорил.

Беня. Кто говорил?

Сенька. Мендель говорил, отец… Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.

Беня. Сказился.

Сенька. Все люди знают.

Беня. Божись!

Сенька. Пусть мне счастья не видеть!

Беня. Матерью божись!

Сенька. Пусть я мать живую не застану!

Беня. Еще божись, стерва!

Сенька*(пренебрежительно)*. Дурак ты!

Кантор. Борух ато адонай…[87]

[87] Примечания: 87
Благословен ты, господь бог… *(евр.)*.

Шестая сцена

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Беня и чистит револьвер. Левка прислонился к двери конюшни. Арье-Лейб объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Беня. Время идет. Дай времени дорогу!

Левка. Зарезать ко всем свиньям!

Беня. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

Арье-Лейб. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?[88]

Никифор*(указывает Арье-Лейбу на братьев)*. Вон выставились коло конюшни, как дубы.

---

[88] Примечания: 88
Рашэ — комментатор Священного Писания и Талмуда *(евр.)*.

Арье-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем… Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю… Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор*(мечется по двору)*. Я свое знаю… У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор…

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Беня*(разбирает револьвер, чистит)*. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Никифор*(кричит, но в голосе его нет силы)*. Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет…

Беня. Кричи, кричи перед смертью.

Никифор*(Арье-Лейбу)*. Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб*(поднимает на кучера выцветшие глаза)*. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Беня. Растревожился наш Никифор.

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Пятирубель под хмельком.

Бобринец*(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне идти?

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего… Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

Мендель*(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Никифор. Выставились, как дубы паршивые.

Бобринец. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню… Ай, Мендель!

Пятирубель. Ай, Мендель!

Мендель. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Никифор. Хозяин, за ради бога!..

Мендель. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои…

Мендель. Что сыны мои?

Никифор. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Беня*(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота…

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

Мендель*(смотрит в землю)*. Люди, хозяева…

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову, и голос его крепнет)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку…

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)* Левка. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.

Никифор*(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Бобринец. Левка, отца?!

Беня*(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Никифор. Ох, грех...

Пятирубель. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще человек на земле против Менделя.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Я ста рублями отвечу…

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Бобринец. Левка, отца?!

Мендель. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

Пятирубель. Ста рублями любому отвечу…

Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны клочья волос.

Мендель. Не возьмешь!

Беня. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Старик рухнул. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Никифор. Теперь убили.

Пятирубель*(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Левка*(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель. Миш?..

Беня*(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

Пятирубель. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

Арье-Лейб*(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка*(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель *(отходит, пошатываясь)*. Двое — на одного.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама — одичавшая, грязно-серая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Нехама. Не молчи, Мендель.

Бобринец*(густым голосом)*. Довольно строить штуки, старый шутник!

Нехама. Кричи что-нибудь, Мендель!

Бобринец. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Беня*(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь)*. Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.

Седьмая сцена

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него наскакивает лысый нескладный мужик Семен, тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, Майор. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

Семен. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Беня*(продолжает писать)*. Грубо говоришь, Семен.

Семен. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Беня. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

Семен. Ты куда старика дел?

Беня. Старик больной.

Семен. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Беня*(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что…

Мадам Попятник*(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак, — это очень паскудно.

Беня. …потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

Семен*(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

Мадам Попятник. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Беня. Никифор!

Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Никифор. Я Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Беня. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беня. У меня выкупать… Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов…

Семен*(остолбенел)*. Пятьсот?! Двадцать годов возил…

Мадам Попятник. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Беня. Овса — двести.

Семен. Я возить не отказываюсь.

Беня. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас… Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у нас эти несчастные два рубля…

Майор*(мелодическим глухим голосом).* Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное… Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы…

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане…

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать…

Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

Потаповна. Цари наши…

Беня. Что скажете, мадам Холоденко?

Потаповна. Цари наши…

Никифор. Пошла дурить!

Потаповна*(подмигивает).* Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат… Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж.

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна*(бьет по земле кулаком).* Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья в монопольку…

Мадам Попятник. Интеллигентная дама!

Потаповна*(разбрасывает по земле медяки).* Вот сорок копеек заработала… Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала… *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Д-ж-ж-ж, пустил шарики…

Беня. Никифор!

Никифор. Ну?

Потаповна*(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем).* А девочка-то наша занеслась, Никиша!

Мадам Попятник*(присела и зажглась).* Интри-

га, ай, какая интрига!

Беня. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

Мадам Попятник*(приседает, глазки ее воротятся, стреляют, сыплют искры)*. Я иду… я иду… Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза стали у нее косые и светят вбок черным огнем.)*

Майор тащится за женой и шевелит пальцами.

Наконец они исчезают.

Потаповна*(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей каждую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Беня*(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

Потаповна*(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Беня. Врешь!

Потаповна. Ну, третий.

Беня. Чего тебе от нас надо?

Потаповна. Д-ж-ж, пустил шарики…

Беня. Чего тебе надо?

Потаповна*(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Беня. Двадцать пять!

Потаповна. Портовых наведу.

Беня. Портовых наведешь?.. Никифор!

Никифор. Я Никифор.

Беня. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять…

Потаповна. Сто!

Беня. …двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Никифор. Не взойду я.

Беня. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Никифор*(хватает Беню за руки)*. Парень, я бога не боюсь… Я бога видел и не испугался… Я убью и не испугаюсь…

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит Мендель. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

Мендель. Отоприте.

Потаповна. Ай, страшно!

Никифор. Хозяин!

К каретнику приближаются Арье-Лейб и Левка.

Мендель. Отоприте.

Потаповна*(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

Мендель. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое…

Никифор*(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не страмитесь передо мной, простым человеком!

Мендель. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои… А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много…

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

Мендель. Не бей меня, Бенчик.

Левка. Не бей его.

Беня. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как могли вы… *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

Арье-Лейб. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Беня. Звери, о, звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

Арье-Лейб*(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем…

Потаповна*(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

Арье-Лейб*(укладывает Менделя на лежанке за занавеской)*. Мы заснем, Мендель…

Потаповна*(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика)*. Сыночек мой, любочка моя!

Арье-Лейб*(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека)*. В старые старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его…

Потаповна*(всхлипывает)*. Сыночек мой!

Арье-Лейб. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел

Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико…

Восьмая сцена

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка*(орет кавалерийские сигналы).*

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша*(хохочет)*. Ой, живот! Ой, выкину!..

Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!

Клаша. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.

Двойра. Но почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки… Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб… На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь…

Проходят. Появляются Беня и Бобринец.

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня.

Беня. Моя мысль такая: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый и босой и замазанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина… И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой…

Проходят Боярский и Двойра.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб…

Двойра. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный прасол и парень в тройке, с толстыми ногами.

Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек слетел.

Прасол. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то… *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как по-живется. За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать…

Парень с толстыми ногами. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

Прасол. Старик по сто покупал — хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут.

Прасол. Это жиды-то? Это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком…

Проходят Беня и Бобринец.

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой… Ты понял меня, Бобринец?

Бобринец. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнер.

Пятирубель*(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал… Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(Робко.) Они гундосые?

Мадам Вайнер*(злобно)*. Ну да!

Проходят Двойра и Боярский.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб.

Двойра. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Боярский. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.

Мадам Попятник. Бен Зхарья приехал! Раввин... Бен Зхарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

Парень с толстыми ногами. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарьи.

Бен Зхарья*(визгливо)*. Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается…

Бобринец*(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Бен Зхарья. …еще я на спине лежу, как таракан…

Бобринец. Почему на спине, рабби?

Бен Зхарья. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы…

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть…

Беня. Они дадут вам пить, они дадут вам есть,

все, что вы захотите, рабби.

Бен Зхарья. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Беня. И лошадей моих отдам.

Бен Зхарья. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня… куда?

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Зхарья. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Бобринец*(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Арье-Лейб*(представляет Беню)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Зхарья*(жует губами)*. Бенцион… сын Сиона… *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью…

Левка*(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

Клаша*(качает головой, улыбается)*. Ох, здо-

ровый!

Беня*(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Бен Зхарья*(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнанье? Пусть государственный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной…

Бобринец*(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Бен Зхарья. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой… Она лучше банка, она лучше банка…

Бобринец*(поднял кверху палец)*. Надо понимать, что он говорит.

Бен Зхарья. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Левка. Он сегодня больной.

Беня. Рабби, он здоров… Никифор!

В дверях показывается Никифор в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Никифор*(отчаянным голосом)*. Уважающие гости!..

Беня*(очень медленно)*. Пусть взойдет папаша.

Арье-Лейб. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Левка. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгается слюной.

Беня*(склоняется к мадам Вайнер)*. Что он говорит?

МадамВайнер. Он говорит — стыд и срам!

Арье-Лейб. Евреи так не делают, Беня!

Клаша. Расти сынов...

Беня. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?.. *(Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.)* Пусть взойдут папаша!

Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его шею. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарьи нарушает томительную тишину.

Бен Зхарья. Бог умывается на небе красной водой. *(Молчит, ерзает в кресле.)* Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица обращаются в эту сторону. Показывается Мендель с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме.

С ним Нехама в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Беня. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах.

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — ура!

Беня*(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!.. *(Подносит отцу и матери вино.)* Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово.

Мендель*(озирается и говорит очень тихо)*. Желаю доброго здоровья…

Беня. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов…

Беня. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Зхарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи… В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Бобринец*(заливается хохотом)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Мадам Попятник. Я даю туш.

Беня. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствия, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня*(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка*(через весь стол)*. Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли…

Прасол. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю…

Пятирубель*(лезет к Бене и порывается целовать его)*. Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом… *(Кричит истерически.)* У тебя был хороший отец, Беня!

Вайнер*(обрел дар речи)*. Выведите его!

Мадам Вайнер. Боже, какие штуки!

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

Вайнер. Выведите его!

Арье-Лейб*(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беня…

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище! Пятирубель. Свет наскрозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться… Беня. Дорогие, присаживайтесь!

Левка. Жмите скамейки…

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Левка. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

ОЧЕРКИ

Очерки





В Одессе каждый юноша…

В Одессе каждый юноша… Впервые: «Литературная газета», 1962, 1 января.

Написано в 1923 г. как предисловие к коллективному сборнику начинающих одесских писателей. Издание осуществлено не было.

———

В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта — и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как

о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша

— пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда — в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.

Начало

Начало. Впервые: «Литературная газета», 1937, 18 июня (годовщина со дня смерти М. Горького). В тот же день под заголовком «Из воспоминаний» — в газете «Правда».

Основой для очерка явилось интервью Бабеля корреспонденту «Комсомольской правды» С. Трегубу (Учитель. Беседа с тов. И. Бабелем // «Комсомольская правда», 1936, 27 июля).

———

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов

выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть.

Всю жизнь он оставался верен этой точности,

добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова… Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату. Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. — Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее… Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету… Честному же человеку,

честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю…

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню…

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл

дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал напечатать…

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а

писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом… Ступайте посему в люди…

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной не родившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено, и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать…»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человече-

скому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

Битые

Битые. Впервые: «Новая жизнь», 1918, 29 марта.

Под рубрикой «Дневник».

———

Это было неделю тому назад.

Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман — мелкий, всевластный — клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи.

Рынки — пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки — голубые и себялюбивые — щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.

Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке; лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гри-

вы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.

Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.

В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.

Отпевают солдата.

Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.

Батюшка молится худо, без благолепия и скорби.

Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.

Я заговариваю со сторожем.

— Этого хоть похоронят, — говорит он. — А то вон у нас лежат штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.

Каждый день привозят в мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.

Раньше опрашивали — кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке — «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.

Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.

Эти визиты — утренние и ночью — длятся год

без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задает вопрос — милиционеры отвечают: «убит при грабеже».

В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка:

— Князь Константин Эболи де Триколи.

Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.

На другом столе я нахожу его подругу-дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая — она хранит

печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.

Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.

Конечно.

Все там будем.

— Теперь ничего, — повествует сторож, — пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тода всей больницей беги…

Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет — это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.

— Вы били, — с ожесточением доказывает фельдшер, — вы и убирайте. Сваливать ума хватает… Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж… Уж сколько бумаг написали…

Я ухожу из места, где подводят итоги. Тяжко.

Я задним стоял

Я задним стоял. Впервые: «Новая жизнь», 1918, 7 июня.

Под рубрикой «Петербургский дневник».

———

Мы похожи на мух в сентябре: сидим вялые, точно нам подыхать скоро надо. Мы представляем собой собрание безработных Петроградской стороны.

Зал для собрания отвели просторный. Надвигающиеся солнечные лучи — широкие, горячие, белые — уперлись в стену.

Доклад делает председатель Комитета безработных. Он говорит:

— Безработных сто тысяч. Остановившиеся заводы не могут быть пущены в ход. Нет топлива.

Биржа труда работает худо. Хоть в ней сидят рабочие, однако это не очень умные, не очень грамотные рабочие. Продовольственная управа бесконтрольна в своих действиях. Те, кто распределяет хлеб между населением, те же имеют право и браковать его. Ничего хорошего из этого не выходит. Никто ни в чем не отчитывается.

Сообщение выслушивается пассивно. Ждут выводов. Выводы следуют.

Необходимо, чтобы в учреждениях не служили целыми семьями — муж, да жена, да дети.

Необходимо безработным контролировать биржу труда.

Необходимо предоставить Комитету безработных просторное помещение и т. д., и т. д.

Под стульями светятся черным блеском сапоги. Всем известно, что безработный, обладая досугом и остатком денег, полученных при расчете, по утрам усердно поплевывает на сапоги, создавая себе, таким образом, иллюзию занятия.

Докладчик умолк. На кафедру входят присмиревшие неумелые люди в куцых пальтишках. Безработные Петрограда заявляют о великих своих нуждах, о пятирублевом пособии и о дополнительной карточке.

— Смирный народ исделался, — пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос. — Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое…

— Утихнешь, — отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий. — Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задум-

чивость впал.

— Это верно — впал, — подтверждает старик.

Ораторы менялись. Всем хлопали. Совершила выступление интеллигенция. Застенчивый человек с бороденкой, задумываясь, покашливая и прикрывая ладонью глаза, поведал о том, что Маркса не поняли, капиталу нужно движение дать.

Ораторы говорили, публика расходилась. Только угрюмые рабочие чего-то ждали.

На трибуну взошел рабочий лет сорока, с круглым, добрым лицом, красным от волнения. Речь его была бессвязна.

— Товарищи, здесь председатель говорил, другие также… Я одобряю, я свое не могу выразить. Меня в заводе — ты какой? Я говорю — ни к кому я не принадлежу, я неграмотный, дай мне работу, я тебя накормлю, я всех накормлю. На завод ребята с газетами приходили, все горлопанили. Я задним стоял, товарищи, я ни к кому не принадлежал, мне работу дай… Кто красноречивый был, — что мы видим? — он в комиссарах горлопанит, а нам велит: ходи вокруг биржи… Мы вокруг биржи ходим, потом вокруг Петроградской стороны пойдем, потом вокруг России… Как же так, товарищи?..

Рабочего прерывают. Рев потрясает зал. Аплодисменты оглушительны.

Оратор смущен, радостен, он машет руками и мнет фуражку.

— Товарищи, я свое не могу выразить, меня от дела отставили, зачем я теперь? Все учили про справедливость. Если справедливость, если народ — мы, значит, казна наша, ляса наши, именьишка наши, вся земля и вода наши. Устрой нас теперь, мы задними стояли, мы ни в чем этом не виноваты, мы нынче пустые по углам слоняемся. Невозможно дальше в таком беспокойствии жить…

— Все враги у нас — и немец, и другие, я поднимать их всех притомился… Я про справедливость хотел выразить… Поработать бы нам этим летом — и все…

Последний оратор имел успех, наибольший успех, единственный успех. Когда он сошел с возвышения — его точно на руки подхватили, обступили и все хлопали.

Он счастливо улыбался и говорил, поворачивая голову во все стороны:

— Никогда за мной этого не было, чтоб говорить. Но теперь я, товарищи, по всех митингах пойду, я про работу должен все сказать.

Он пойдет на митинг. Он скажет. И боюсь я, что он будет иметь успех — этот последний наш оратор.

Беседа «О творческом пути писателя»

Беседа «О творческом пути писателя».

Впервые: журн. «Наш современник», 1964, № 4.

———

ВОПРОС. Вы сейчас меньше пишете о гражданской войне?

БАБЕЛЬ. Надо сказать, что после довольно длительного перерыва (блуждания между тремя соснами) сейчас с писанием у меня идет легче дело. Пишу я довольно много, и это будет напечатано. Я сейчас другими глазами смотрю на гражданскую войну.

Есть другие темы. Мне очень хочется писать о селе, о коллективизации (вот что сейчас меня очень занимает), о людях во время коллективизации, о переделке сельского хозяйства. Это самое большое движение нашей революции, кроме гражданской войны. Я более или менее близкое участие принимал в коллективизации 1929–1930 годов. Я несколько лет пытаюсь это описать. Как будто теперь у меня это получается.

ВОПРОС. За сколько времени вы написали пер-

вый рассказ?

БАБЕЛЬ. Так как мы находимся на вечере журнала «Литературная учеба», я думаю, вопросы о характере работы уместны здесь. И вот что могу сказать о себе.

Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался на бумагу. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, причем почти без всяких помарок.

Потом я в этом методе разочаровался. Мне показалось, что уже до самого написания все сделано и остается мало простора для импровизации. Когда водишь пером по бумаге, это может черт знает куда завести, завлечь. Не всегда повинуешься тому ритму и даже выражениям, которые складываются.

Теперь я делаю иначе. Когда у меня появляется желание писать что-нибудь, например рассказ, то я пишу как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система

(это можно посмотреть в тех рассказах, которые будут напечатаны) дает большую легкость, плавность повествования и большую непосредственность.

ВОПРОС. Вызывает недоумение у читателя ваше более чем продолжительное молчание.

БАБЕЛЬ. У меня самого это вызывает большое недоумение, так что в этом отношении я от вас ненамного отличаюсь.

Если говорить честно, то я просто не приспособлен для этого ремесла и я бы им не занимался, если бы я себя чувствовал более приспособленным для другого ремесла. Но это все-таки единственное, что я могу после больших усилий делать более или менее прилично. Это первое. Во-вторых, критическое чувство у меня развито. В-третьих, мы живем в революционную и бурную эпоху, и я принадлежу к числу людей, которых слово «что» мало занимает. Чувство восхищения, ненависти, горя — все это у меня возникает мгновенно. Некоторые товарищи, почувствовавшие это, немедленно кидаются к бумаге, и если у них есть способность журналиста или способность писать оды и сатиры, то у них выходит часто очень хорошо.

По характеру меня интересует всегда «как и

почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме. Я себе это так объясняю.

Кроме того, я в этих делах рецидивист, это у меня не новость.

Я начал писать юношей, потом на много лет прекратил, потом писал много лет залпом, потом прекратил, и сейчас у меня начинается второй акт комедии или трагедии — не знаю, что выйдет.

Вообще, это биография, причем биография довольно затруднительная.

ВОПРОС. Назовите, пожалуйста, своих любимых писателей, классиков и современных, у кого вы учились.

БАБЕЛЬ. В последнее время я начинаю сосредоточиваться все больше на одном писателе — на Льве Николаевиче Толстом. (Я не говорю о Пушкине, который вечный спутник.) Мне кажется, что у нас начинающие литераторы мало читают и изучают Льва Николаевича Толстого, пожалуй, самого удивительного из всех писателей, когда-либо существовавших.

Должен сказать, что еще несколько лет тому назад я опять прочитал «Хаджи-Мурата» и рас-

строился совершенно невыразимо. Я вспоминаю, мне Горький как-то рассказал. Всем известна книга Горького «Рассказы о Толстом», но неизвестно, что Горький, кроме этого, всю жизнь писал большую книгу о Толстом, которая, как он мне сказал, ему не удавалась. Я думаю, что причина этого в том, что первую он писал под впечатлением, со страстью написал, а во второй книге он хотел написать трактат…

Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал: вот где надо учиться. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды, причем когда эта правда появлялась, то она облекалась в прозрачные и прекрасные одежды.

Когда читаешь Толстого, то это пишет мир, многообразие мира. Действительно, говорят, есть трюки, приемы. Если вы возьмете любую главу Толстого, там горы всего, есть философия там, смерть. Причем, казалось бы, что для того, чтобы так написать, нужно трюкачество, необыкновенное техническое умение. А там это поглощается чувством мироздания, которое им водило.

Литературный критик я не только плохой, но ужасающий. Я должен извиниться за то, что я

здесь наболтал. Но я отвечаю вот, кого из классиков я люблю и у кого надо учиться.

Что касается современных писателей, то я думаю, что мы приближаемся ко времени «гамбургского счета», как писал когда-то Шкловский. Я лично не верю в то, что писатель есть человек с какой-то физической способностью к писанию, что в мозгу у него есть мозоль, которая толкает его перо, и что у писателя мозги и сердце увеличены против стандарта. Мне кажется, что мы подходим к той поре, когда сочинения схоластические, надуманные, не пронизанные страстью и искренностью, отживают свой век и не будут засорять нашу литературу.

А персонально если назвать, то я считаю, что на хорошем, правильном пути находится Шолохов. Это человек, в писаниях которого есть добротность ткани. Когда читаешь его, то видишь то, что читаешь, и написано это горячо. Дело вот в чем. Подстилка, подкладка его сочинений не так значительна, как подкладка сочинений Толстого, потому что когда у Толстого барин выходит и скажет: «Извозчик, двугривенный, на Тверскую», то все это носит характер мирового события, которое укладывается в мировую гармонию.

У Шолохова о такой значительности деталей

не может быть и речи, но я считаю, что это человек с большой внутренней начинкой, который находится на правильном пути.

Высоко я очень ставлю Валентина Катаева, который, считаю, будет писать все лучше и лучше, который проделал очень правильную эволюцию, который, делаясь старше, делается серьезнее и книгу которого «Белеет парус одинокий» я считаю необыкновенно полезной для советской литературы. Книга Катаева сделала очень много для того, чтобы вернуть советскую литературу к великим традициям литературы: к скульптурности и простоте, к изобразительному искусству, которое у нас почти потеряно. У нас почти не умеют показать вещь, а о ней очень многословно рассказывают, причем техника ужасающая. Я лично считаю, что Валентин Катаев на большом и долгом подъеме и будет писать все лучше и лучше. Это одна из больших надежд.

ВОПРОС. Из ваших предыдущих высказываний можно было заключить, что вы являетесь горячим приверженцем широких масштабов, добротности, реализма, ориентируетесь на Толстого, Шолохова. Как это увязать с тем, что встречается в ваших произведениях? Из них можно вывести заключение, что вас в жизни больше

интересуют исключения из правил, исключения, а не типическое. Между тем реализм является краеугольным камнем вашего художественного мировоззрения.

БАБЕЛЬ. В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю. Гете так думал.

Я думаю, что для того, чтобы писать типическое таким потоком, как писал Лев Толстой, ни сил, ни данных, ни интереса у меня нет. Мне интересно его читать, но мне неинтересно писать по его методу.

Вы говорите о молчании. Должен вам открыть тайну. Несколько лет у меня ушло на то, чтобы, соответственно своим вкусам, писать длинно, подробно, философично, чтобы выходила та самая правда, о которой я говорил. У меня это не получилось. И поэтому, оставаясь поклонником Толстого, я, для того чтобы что-нибудь получилось, иду в своей работе противоположным путем.

Я понял очень хорошо ваш вопрос, но, кажется,

очень невразумительно на него ответил. Дело вот в чем, в том, что у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы. Так нужно думать.

ВОПРОС. Значит, силы у Толстого было на 23 часа 55 минут больше?

БАБЕЛЬ. Видите ли, самоуничижение совершенно не в моем характере, и если бы я хотел себе о грешить жизнь и думать о том, кто пишет лучше — Лев Николаевич Толстой или я, то, даже придя к убеждению, что он пишет лучше, я бы, кроме ненависти и злобы, иного чувства к нему не испытал бы.

Но поскольку дело происходит в редакции «Литучебы» и можно говорить о некоторых секретах, то я сказал, почему у меня более или менее получаются короткие вещи и не получаются длинные вещи, причем для того, чтобы снять с себя всякий упрек в самоуничижении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя располагают не большим количеством интересных фактов и

наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовским способом». Что из этого получается — всем пострадавшим известно.

ВОПРОС. В ваших очень хорошо написанных рассказах есть некоторые фразы, которые мне кажутся смелыми. В первом вашем рассказе у вас написано «добрые ноги». Я не понимаю, как можно писать о ногах — добрые или злые. Во втором рассказе есть фраза: «Он замотал головой, как вспугнутая птичка». Если она вспугнута, то она улетит.

БАБЕЛЬ. Что касается первого рассказа, то вас это покоробило потому, что я неубедителен, но человеческие ноги могут быть добрые, злые, зрячие, слепые. Несомненно, всеми этими свойствами характера человека ноги обладают, надо только уметь это описать. Первый рассказ несколько обрывается, это не доказано. В этом отношении вы правы.

Что касается второй фразы, то, мне кажется, это можно, я так чувствую. А что касается смелости, то это, как известно, добродетель, но только, конечно, если человек кидается в бой с подходящим оружием. В этом отношении, конечно, смелость хороша.

Мне кажется, что о технике рассказа хорошо

бы поговорить, потому что этот жанр у нас не очень в чести. Надо сказать, что и раньше этот жанр у нас никогда в особенном расцвете не был, здесь французы шли впереди нас. Собственно, настоящий новеллист у нас — Чехов. У Горького большинство рассказов — это сокращенные романы. У Толстого — тоже сокращенные романы, кроме «После бала». Это настоящий рассказ. Вообще у нас рассказы пишут плоховато, больше тянутся на романы.

ВОПРОС. Ваше мнение о Паустовском?

БАБЕЛЬ. Глубоко положительное. Если бы я продолжил разговор о Катаеве и Шолохове, то он должен был бы включить и Паустовского с его интересной литературной биографией. Я его знаю давно, мы земляки, я читал его первые опыты. Это очень хорошая иллюстрация к тому, что я вам говорил, когда говорил о первом рассказе. Эти первые опыты были столь многоречивы, столь запутанны, столь неискусно написаны, причем это писал взрослый человек. Ему было не 18–20 лет, а 25–26–27 лет, причем это была такая перегрузка прилагательными, метафорами, это было такое богатство, в котором читатель буквально тонул, причем от пряности этой атмосферы, которую он описывал, было трудно дышать. Это была в

беспорядочно построенной теплице оранжерея с тропическими цветами. Но наряду с этим наблюдалась всегда истинная страсть. Вот Паустовский в течение пятнадцати лет занимался тем, что он отшлифовывал эту страсть, что он убирал много лишнего, и вот что получилось. Интересно именно то, что сорокалетний человек начал писать.

ВОПРОС. Толстой никогда этой работой не занимался.

БАБЕЛЬ. Это тоже неприятность для нас всех. В сущности. Толстой кончил так же, как и начал. Он сразу нашел и форму, и содержание своей мысли. Она становилась у него только нервнее с годами, причем когда ему было 75 или 80 лет, то он мысль писал физически, не литературно, так как она выражала все оттенки.

ВОПРОС. Вы сторонник короткой фразы. Как вы считаете, в рассказе надо разжевать идею или только намекнуть?

БАБЕЛЬ. Это ужасное заблуждение. Я не сторонник короткой фразы. Я сторонник чередования коротких фраз с длинными, причем человеческая мысль нуждается в знаках препинания. Это все.

Теперь что касается того, нужно ли разжевать идею или только намекнуть. Товарищ, нужно ее точно выразить. Хотелось бы, чтобы идеи

передавались совершенно нетронутыми и неженаными.

ВОПРОС. Считаете ли вы, что Юрий Олеша уже выдохся или он будет еще писать? Ваше мнение о нем?

БАБЕЛЬ. Вы задаете вопросы, довольно близко ко мне относящиеся, причем о людях, мне чрезвычайно близких. Это все земляки, это так называемая одесская, южнорусская школа, которую я очень ценю. Мое мнение о Юрии Олеше очень высокое. Я его считаю одним из самых талантливых и оригинальных советских писателей. Будет ли он еще писать? Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет жить, то он будет писать. Думаю, что он может писать великолепно. Я думаю, что воображаемые препятствия мешают его производительности. Талант эту черту взрывает. Это большой писатель — Олеша.

ВОПРОС. Не увлекается ли он публицистикой, может быть, это мешает ему работать?

БАБЕЛЬ. Юрий Карлович Олеша — декламатор по своему существу. Он может декламировать на отвлеченные темы и на темы дня. Я не вижу никакого водораздела между его так называемыми статьями и другими работами. Последние написаны второпях, несколько быстро, они ме-

нее значительны, но всегда в них есть некоторое оригинальное звучание.

ВОПРОС. Как работать над новеллой?

БАБЕЛЬ. Как работать над коротким рассказом? Я совершенно не верю ни в рецепты, ни в учебники, и, между прочим, стыдно признаться, может быть, это реакционное чувство, но я Литвуза очень побаиваюсь. Я понимаю, что там работают над повышением культуры и квалификации человека, это необходимо; если там преподают французский, английский языки — это очень хорошо, но как научить писать — этого я не понимаю. Здесь можно говорить только о собственном опыте.

Я стараюсь выбрать себе читателей, причем я тут стараюсь не задавать себе легкой задачи. Я себе задаю читателя, чтобы он был умный, образованный, со здоровым и строгим вкусом. Вообще считаю, что хорошо рассказ читать только очень умной женщине, потому что эта самая половина рода человеческого в хороших своих экземплярах обладает иногда абсолютным вкусом, как некоторые люди обладают абсолютным слухом. Здесь самое главное — представить себе читателя и представить построже. Со мною так. Читатель живет в душе моей, но так как он живет довольно

долго, то я его смастерил по образу и подобию своему. Может быть, этот читатель слился со мной.

После написания рассказа никогда в воспламененном состоянии его никому не читайте, не бегите поделиться великой новостью: разродился. Это не очень легкая штука. Потребуется довольно много усилий, чтобы заставить себя не читать, не бежать в соседнюю комнату, а чтобы дать ему, рассказу, отлежаться и читать его со свежим чувством. Причем если я выбрал себе читателя, то тут я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя. Я его уважаю. Это ужасная вещь — старинная актерская мудрость — «публика дура». Надо взять себе серьезного критика и стараться его оглушить до бесчувствия. Такое самолюбие у человека должно быть. А как только это чувство пробуждается, вы перестаете делать гримасы.

Мое отношение к прилагательным — это история моей жизни. Если бы я написал свою биографию, то назвал бы ее «История одного прилагательного». В молодости я думал, что пышность выражается пышностью. Оказывается, нет. Оказывается, что надо очень часто идти от обратного. Причем всю жизнь — «что писать» я почти всегда знал, но так как я не мог это написать на

двенадцати страницах, так как я сам себя сковал, то я должен выбирать слова значительные — во-первых, простые — во-вторых, красивые — в-третьих.

ВОПРОС. Почему вы не поклонник тех вещей, которые написали?

БАБЕЛЬ. Я считаю, что те вещи, которые написаны, могли быть лучше, проще. Но я принадлежу к числу тех молодых людей, которые даже прыщи в молодости принимают как закон. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ослеплен гордостью, но мне кажется, что я вижу теперь мысль и способ выразить ее лучше, чем я делал это тогда, когда писал эти вещи. Единственное, что меня не огорчает, это то, что мне не приходится брать свои слова обратно.

ПИСЬМА
ДОКУМЕНТЫ

Письма. Документы



Из всего сохранившегося эпистолярного наследия И. Бабеля для настоящего издания отобраны лишь немногие письма, представляющие общественный интерес, а также те, в которых речь идет об обстоятельствах, связанных с работой писателя, с его непростой литературной судьбой.

За редкими исключениями, письма печатаются полностью, без купюр. Исключения составляют некоторые сугубо личные подробности.

———

А. Г. Слоним

<7 декабря 1918 г., Петроград>

За время моего исчезновения la vie[89] мотала меня на многие лады, я приезжал, уезжал, был болен, призывался.

Я очутился в положении, когда стыдно было появляться на глаза, потом стало стыдно того, что не являлся. Это обычно.

Несмотря на тяжкие условия, я вывернулся из бед. Сегодня уезжаю в Ямбург открывать крестьянский университет, вернусь в будущую среду. Приду. Такую повинную голову всякий меч сечет.

В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности. Это несмотря на некоторую житейскую приспособляемость. Отсюда мои вольные и невольные прегрешения. Это надо искоренить; со стороны «одержимость» имеет вид неуважения к людям. Господи, помилуй нас, Анна Григорьевна, простите бродячую и задумчивую душу. Вот — всё.

---

[89] Примечания: 89
Жизнь *(фр.)*.

Я бос и неприкрыт. В записке, данной Сторицину, перечислены некоторые вещи. Пожалуйста, дайте ему их. Он перевезет их к себе на квартиру.

Я кланяюсь Льву Ильичу и Илюше. Защитите меня перед ними, Анна Григорьевна[90]. Приду — не посмотрят. Грустно.

До свиданья. Скажем так — простить это значит понять.

Любящий Вас И. БАБЕЛЬ

---

[90] Примечания: 90

Слоним Анна Григорьевна (1887–1954) и *Слоним Лев Ильич* (1883–1945) — друзья писателя. В 1916 г. Бабель жил в Петрограде на квартире Слонимов.

Илья Львович Слоним (1906–1973), скульптор, сын Слонимов. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

В редакцию газеты «Красный Кавалерист»

Впервые: в газете «Красный кавалерист», органе политотдела 1-й Конармии, 11 сентября, 1920 г, под шапкой «Экспедиция, подтянись!».

———

<11 сентября 1920 г.>

Уважаемый т. Зданевич[91].

Беспрерывные бои последнего месяца выбили нас из колеи.

Живем в тяжкой обстановке — бесконечные переходы, наступления, отходы. От того, что называется культурной жизнью, — отрезаны совершенно. Ни одной газеты за последний месяц не видали, что делается на белом свете — не знаем. Живем, как в лесу. Да оно, собственно, так и есть, по лесам и мыкаемся.

Доходят ли мои корреспонденции — неизвестно. При таких условиях руки опускаются. Среди

---

[91] Примечания: 91

В. Зданевич (псевд.: В. Дарений, Артем Кубанец, ум. в 1922 г.) — редактор «Красного кавалериста». В этом же номере напечатан его ответ Бабелю. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

бойцов, живущих в полном неведении того, что происходит, — самые нелепые слухи. Вред от этого неисчислимый. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы самая многочисленная наша 6-я дивизия снабжалась нашей и иногородними газетами.

Лично для меня умоляю вас сделать следующее: отдайте распоряжение по экспедиции: 1) прислать мне комплект газеты минимум за 3 недели, прибавьте к ним все иногородние, какие есть, 2) присылать мне ежедневно не менее 5 экземпляров нашей газеты, — по следующему адресу: Штаб 6-й дивизии, Военному корреспонденту К. Лютову. Сделать это совершенно необходимо для того, чтобы хоть кое-как меня ориентировать.

Как дела в редакции? Работа моя не могла протекать хоть сколько-нибудь правильно. Мы измучены вконец. За неделю, бывало, не урвешь получаса, чтобы написать несколько слов.

Надеюсь, что теперь можно будет внести в дело больше порядка.

Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, свяжите меня таким образом с внешним миром.

С товарищеским приветом К. Лютов

В редакцию журнала «Октябрь»

Впервые: в журн. «Октябрь», 1924, № 4. Одновременно газ. «Красная звезда». М., 1924, 21 ноября. Датировано: 19 ноября 1924 г. См. комментарий к рассказу «История одной лошади».

———

<Сентябрь — октябрь 1924 г., Москва>

В 1920 году я служил в 6-й дивизии I Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосу-

жился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и, главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров.

И. БАБЕЛЬ

М. Горькому

< 25 июня 1925 г., Москва>

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо за письмо. Оно рассеяло уныние, которому я был подвержен.

В начале нынешнего года — после полуторагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость. Мне казалось, что для меня наступает дурное время. В Петербурге, в 1917 г., я понял, как велика моя неумелость, и ушел в люди. В людях я прожил шесть лет, и в 1923-м вновь принялся за литературную работу. Меня мучила мысль о том, что я обманул Ваши ожидания. Но теперь Вы знаете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, сказанных Вами мне в первый раз на Монетной улице. Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают мне в минуты неверия. Изо всех сил я буду стараться писать проще, душевнее, искреннее, чем писал до сих пор. И если я буду ошибаться, то прошу Вас — не теряйте веры в меня.

В начале зимы собираюсь ехать за границу, может быть, увижу Вас. Вторую половину лета

и осень проведу на Северном Кавказе. Я очень люблю этот край, и там у меня есть веселые, прекрасные товарищи.

Стихи Есенина (прелестные, лучшие из всех, какие сейчас пишутся в России) высылаются Вам, книга Огнева и № 6 альманаха «Круг» не вышли еще из печати.

Теперь просьба, — может быть, это и бестактная просьба… Жена моя, Евгения Борисовна БАБЕЛЬ, имеет непреодолимое желание уехать в Италию. Она учится живописи и хочет усовершенствоваться в своем искусстве. Вы помните Кудрявцева из «Новой жизни»? Он изучал испанский язык, у него было необыкновенной красоты издание «Дон-Кихота» на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу, Кудрявцев читал ее с упоением. Так вот, жена моя хочет ехать в Пизу, Лукку и еще куда-то.

В здешнем итальяском посольстве ей сказали, что для скорейшего получения итальянской визы полезно сослаться на человека, живущего в Италии. По совету многих друзей я решился указать на Вас, больше не на кого. Если Вас запросят, не откажите, Алексей Максимосич, ответить, что она человек тихий, для России бесполезный, для

Италии безвредный. Извините, что затрудняю Вас.

С рассказом, посвященным Вам и напечатанным в предпоследнем № «Красной нови», вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим, рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе «Красная новь», выходящем на днях. Книжка будет Вам послана немедленно. Я очень огорчался, что с вещью, посвященной Вам, вышла такая история.

Вам, любящий Вас всем сердцем

Москва, 25/ VI-25

И. Бабель

Мой адрес: Москва, Пречистенка, Обухов пер., 6, кв. 23.

Д. А. ФУРМАНОВУ

М. 4/П-26
< 4 февраля 1926 г., Москва>

Дорогой дядя Митяй.

Посылаю «Конармию» в исправленном виде. Я перенумеровал главы и изменил названия некоторых рассказов. Все твои указания принял к руководству и исполнению, изменения не коснулись только «Павличенки» и «Истории одной лошади». Мне не приходит в голову, чем можно заменить «обвиняемые» фразы. Хорошо бы оставить их в «первобытном состоянии». Уверяю тебя, Дмитрий Андреевич, никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы, например, в «Чесниках» и проч. Затем, если это тебя не затруднит, передай Ивану Васильевичу мои пожелания касательно внешности книги. Мне очень нравится, как издан Сиверко. Был бы очень рад, если бы «Конармию» удалось издать в небольшом формате, обязательно небольшом, шрифт пореже, поля побольше — и каждый рассказ с новой страницы.

Анне Никитичне мой искренний пламенный

привет. Дай ей б… не бог, а Маркс, поправиться поскорее, и тогда я поставлю к водке бочонок таких огурцов, каких она отроду не видывала.

Завтра и послезавтра позвоню о дальнейших моих делах и переездах.

Умиляюсь собственной честности, посылаю тебе книжицу Зощенко.

Твой И. БАБЕЛЬ

В. Б. Сосинскому

< 18 сентября 1927 г., Париж>

Уважаемый Бронислав Брониславович![92]

Воскресная моя поездка окончилась неудачей.

По неопытности я проплутал целый час в поисках нужного мне трамвая, попал на Chatelet[93] в девятом часу. Мне объяснили, что поездка в Clamart[94] возьмет час, а то и полтора. Неловко было приезжать так поздно — и вот я вышел обманщиком. Очень жалею о том, что не повидался с Вами, и очень прошу извинить меня.

Я захворал. У меня обострение давнишней болезни дыхательных путей. Я сегодня уезжаю на юг. Немедленно по возвращении в Париж уведомлю Вас и надеюсь загладить тогда все мои вины.

Рассказы Ваши прочитал. По-моему, у Вас есть

---

[92] Примечания: 92

Владимир Брониславович Сосинский (1900–1987) — печатался под псевдонимом Пронислав Соснинский. Прозаик, критик, мемуарист. Служил в Белой армии в составе войск Деникина, затем Врангеля. Эмигрант. Впоследствии участник французского Сопротивления. Умер в Москве. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[93] Примечания: 93

Шатле *(фр.)*.

[94] Примечания: 94

Кламар *(фр.)*.

то, что называется литературным дарованием, но мало самостоятельности. И над языком надо работать больше, чем Вы это делали до сих пор. Очень надо следить за тем, чтобы не засорять язык иностранными оборотами, шаблонными, стершимися фразами, безвкусными прилагательными… Впрочем, я не беру на себя смелости давать советы. По совести говоря, я сам во всем сомневаюсь. Талант это есть, вероятно, соединение неутомимых мозгов, недремлющего сердца и мастерства. Если развивать одно качество в ущерб другому, тогда нарушается божественная гармония искусства и литература выходит плохая, претенциозная.

От всего сердца желаю Вам, Бронислав Брониславович, успеха.

Искренно преданный Вам

П. 18/IX-27 И. Бабель

Книги отошлю.

И. Л. Лившицу[95]

<28 октября 1927 г... Марсель»

Дорогие мои товарищи и просто дорогие мои. После трехмесячного пребывания в Париже переехал на некоторое время в Марсель. Все очень интересно, но, по совести говоря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Работал я урывками, теперь наладился и думаю, что-нибудь смогу «произвести». Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Мар сель. Экзотика здесь действительно сногсшибательная, но я уже маленько поостыл к экзотике. Напишите мне о себе. Я о вас помню постоянно и думаю о вас так хорошо, как только могу. Привет Саше и его семейству. Пожалуйста, напишите. Любящий ваг всем сердцем

М. 28/10-27 И. Бабель

---

[95] Примечания: 95

Исаак Леопольдович Лившиц (1892–1979) — товарищ Бабеля по Одесскому коммерческому училищу, издательский работник. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

В. П. Полонскому[96]

<29 октября 1927 г… Марсель»

Дорогой мой Вячеслав Павлович! Никому никаких рассказов я не посылал. Никому, кроме Вас, я никаких рассказов не пошлю. (Сообщение о «Перг вале» привело меня в полное недоумение. Как говорится, ничего подобного.) Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большого целого. Я работаю над ними вперебивку, по душевному влечению. Растреклятое это душевное влечение является причиной моих бедствий и моей неаккуратности Удавиться впору, но ничего поделать с собой не могу. Я знаю, что очередь «рассказов для напечатания» придет очень скоро, и жду — и Вас прошу ждать. Право, у меня уже и слов больше для этих просьб нету. Напечатать «Закат» до постановки — значит… Вы знаете, что это значит… «В руки твои предаю дух мой…»

Я в Марселе. Hochst interessant[97]. Получили ли

---

[96] Примечания: 96

Вячеслав Павлович Полонский (наст. фамилия В. П. Гусин; 1886–1932) — советский литературный критик, с 1926 по 1931 г. редактор журнала «Новый мир».

[97] Примечания: 97

Очень интересно *(нем.)*.

Вы письмо, в котором я сообщал Вам об отъезде моем в Марсель.

Дорогой мой, замученный мною редактор! Я не мечтаю больше о любви. Я мечтаю о том времени, когда бестрепетно смогу я «поднять очи на кредиторов моей совести...». Когтистый зверь, скребущий душу, — совесть!..

Письмо Ваше переслано мне из Парижа. Я написал сегодня, чтобы зашли в Hotel de Valence[98] за Бакуниным. Я, дурак, вообразил почему-то, что Вы оставили для меня эту книгу в Торгпредстве, и спрашивал ее там.

В Марселе постараюсь посидеть подольше. Не сердитесь. Мы помиримся, уверяю Вас, мы помиримся.

29-X-27 Любящий Вас И. Бабель

---

[98] Примечания: 98
Отель Валанс *(фр).*

М. Горькому

<26 января 1928 г… Париж>

Дорогой Алексей Максимович.

Я уезжал из Парижа в деревню, вернулся и застал Ваше письмо. Спасибо за приглашение. От всего сердца благодарю Вас. Можно ли мне приехать весной? Я очень хочу Вас видеть. Я все бьюсь над работой, которую начал давно. Поездка в Италию — соблазнительная чрезвычайно — может рассеять рабочее мое настроение, я этого боюсь. Поэтому мне хотелось бы приехать попозже, весной. Слухи о моих «болячках» преувеличены. Еще поживу.

26/1-28 Любящий Вас И. Бабель

15 Villa Chauvelot Paris 15.

М. Горькому

< 29 февраля 1928 г... Париж>

Дорогой Алексей Максимович!

Начинаю хлопотать о визе. Приеду в апреле. Спасибо, что не забываете меня. Тревожиться обо мне не стоит, а может, стоит... Перемудрил я, кажется. Окончу проклятую книгу, из которой никак выбраться не могу, и снова кинусь в «мир», хлебнуть свежего воздуха. И «мир» выберу погуще. Три года живу среди интеллигентов — и заскучал. И ядовитая бывает скука. Только среди диких людей и оживаю. Вот дурак-то выдался...

Был у меня Безыменский, рассказал, что Вы бодры и в добром здравии. Я очень рад. Жуткина еще не видел, бог спас... (Жаров и Уткин называются и Москве Жуткин).

Посылаю Вам мою пьесу «Закат», чудовищно из данную «Кругом»; грубейшие опечатки совершенно искажают текст. Я, какие ошибки заметил, выправил. Пьеса эта вчера — 28/II — в первый раз была представлена на сцене 2 МХАТа, надо

думать — провалилась[99].

До свиданья, Алексей Максимович.

29/II 28

Ваш всем сердцем И. Бабель

[99] Примечания: 99

Спектакль «Закат» по пьесе Бабеля на сцене МХАТ-2 действительно вызвал неоднозначные, часто отрицательные отзывы в печати. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

И. Л. Лившицу

< 7 *марта 1928 г… Паримо*

Достолюбезнейший и обожаемый Исаакий. Как и следовало ожидать — «Закат» провалился. «Событие» это произвело на меня, как бы это получше сказать, благоприятное впечатление, во-первых, потому, что я был к нему совершенно подготовлен и оно чрезвычайно утвердило меня в мысли, что я разумный и трезвый человек, и, во-вторых, я думаю, что плоды этого провала будут для меня в высокой степени полезны и послужат мне на пользу.

Но ты-то как опростоволосился с телеграммой. Впрочем, телеграмму гораздо более восторженную я получил от труппы. Поэтому утешься — ты ошибался в большой компании. Единственное, чего я вправду не ожидал, — это то, что спектакль выйдет скучным, и он был, очевидно, томительно скучен. Еще в этом худо то, что никаких денег не будет, потому что, очевидно, никакого скандала (способствующего сборам) не было, а просто спектакль покорно опустился в Лету. Если тебе попадутся какие-нибудь рецензии, — сделай

одолжение — пришли.

…Я хворал гриппом, но теперь поправился и чувствую себя хорошо. Весна упоительная, душа рвется к небесам, и самочувствие поэтическое. В начале апреля уеду, вероятно, к Горькому в Италию[100]. Он приглашает так настойчиво, что отказываться неудобно. Впрочем, когда эта поездка примет более осязательные формы — я напишу тебе точнее. Пока же ни на какие передвижения нет денег. Я об этом не тужу, потому что мне и двигаться не хочется. Если ты сможешь это сделать — узнай, были ли сборы на первых представлениях «Заката» — все-таки несколько сот рублей очистится.

Ну, до свидания. С весной вас. С новым солнцем и новым счастьем (исхожу я из того, что счастье внутри нас).

Р. 7/III-28 Твой И.

---

[100] Примечания: 100

Эта предполагаемая поездка И. Бабеля в Италию не состоялась. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Л. В. Никулину[101]

< П. 20/III-28 20 марта 1928 г., Париж>

Mon pauvre Vieux[102]!.. Окружены упоительнейшей весной — живем великолепно. Недавно был ni careme[103], ну и дела пришлось увидеть. Нет, грех хулить, город хороший, беда только, что очень стабилизованный… В апреле уеду, наверное, в Италию к Горькому, патриарх зовет настойчиво, отказываться не полагается. Поживу там до отъезда Горького в Россию. Несмотря на зловещее материальное положение — 80 франков брату передали. Горько только подумать, что из этих денег, политых кровью и желчью, сделают такое мелкобуржуазное употребление. У меня сейчас, надо Вам сказать, выдающееся пролетарское самосознание. Кстати, о «Закате». Горжусь

---

[101] Примечания: 101

Лев Вениаминович Никулин (1891–1967) — советский писатель. На зловещую его роль в судьбе Бабеля намекает ходившая после ареста Бабеля эпиграмма: «Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?» — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[102] Примечания: 102

Мой бедный старик *(фр)*.

[103] Примечания: 103

Середина поста *(фр.)*.

тем, что провал его предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется — напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в «Вечерней Москве» или в «Вечерней Красной» — и пьеса эта будет называться «На переломе» (может, и «На стыке») или, скажем, «Какой простор!»... Сочинения я хоть туго, но сочиняю. Печататься они будут сначала в «Новом мире», у которого я на откупу и на содержании. Получил я уведомление о том, что Ольшевца уже нет в «Новом мире» — вот пассаж!.. Не знаете ли подоплеки?.. Я хворал гриппом, но теперь поправился и испытываю бодрость духа несколько даже опасную — боюсь лопну! Дружочек Лев Вениаминович, не забывайте меня, и бог вас не оставит. Очень приятно получать ваши письма. Наверное, и новости есть какие-нибудь в Москве.

Ваш И. БАБЕЛЬ

М. Горькому

Париж, 10/IV-28
<10 апреля 1928 г. Париж>

Дорогой Алексей Максимович!

Я жду итальянской визы. Ожидание это может продлиться неделю, а может, и больше. Напишите мне, пожалуйста, когда Вы едете в Россию. Как бы нам не разминуться… По совести говоря, Италия потеряет для меня тогда свою притягательную силу.

Я ничего не написал по поводу Вашего юбилея[104], потому что чувствовал, что не сумею сделать это так, как надо. О Ваших книгах и о Вашей жизни у меня есть мысли, которые мне кажутся важными, но они не ясны еще, сбивчивы, противоречивы… Придет время, когда я все додумаю и смогу написать о Вас книгу, я верю в это… А пока помолчу. Но все эти дни я шлю Вам лучшие пожелания моего сердца, пожелания, какие только можно послать человеку, ставшему неразлучным нашим спутником, другом, душевным судьей, примером… Мысль о Вас заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил. Ничего лучше нельзя придумать на земле.

Ваш И. Бабель

---

[104] Примечания: 104

Речь идет о 60-летии Горького, которое отмечалось в марте 1928 г.

«Еще в ноябре 1927 года была создана правительственная комиссия по юбилейному чествованию Горького (такие комиссии были созданы в десятках городов страны). превращенная затем в комитет по его встрече. В него вошли два члена Политбюро — Бухарин и Томский, два наркома — Луначарский и Семашко и другие, весьма высоко стоявшие официальные лица. Одному из них — Ивану Скворцову-Степанову — Горький писал из Сорренто: «Именем всех людей, преждевременно и невинно убиенных юбилеями, заклинаю: не делайте этого!.. Кому нужен этот юбилей? Вам? Не нужен. Мне? Я уже и без того «обременен популярностью» (Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький Последние двадцать лет. М., 1999, с. 212). — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Ф. А. Бабель[105]

<21 мая 1928 г., Париж>

..В России вышел сборник статей обо мне[106]. Читать его очень смешно, — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана[107], тоже очень смешно, я вроде веселого мопса. Сборник пошлю вам завтра. Пожалуйста, сохраните его, надо все-таки собирать коллекцию...

И.

---

[105] Примечания: 105

Фаня Ароновна Бабель (1864–1942) — мать писателя, с 1925 г. жила в Бельгии. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[106] Примечания: 106

И. Э. Бабель. Статьи и материалы. Л., Асайегша, 1928. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[107] Примечания: 107

Натан Исаевич Альтман (1889–1970) — советский художник, скульптор, график. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

В. П. Полонскому

St. Idelsbad,
Villa Gustave Belgique
31/VII-28

<31 июля 1928 г. Бельгия>

Дорогой Вячеслав Павлович! Мне переслали из Парижа письмо Вашего секретариата, формально правильное и чудовищно несправедливое и мучительное по существу. Я отвечу на него как можно искреннее, скажу, что думаю. А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно, — не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов. Месяца два тому назад я попытался поднатужиться, смазать, поспешить и поплатился за это страшным мозговым переутомлением,

неработоспособностью выбытием из строя на полтора месяца. Больше это не повторится. По-прежнему стою я на том, чтобы всю сделанную работу сдать «Новому миру», по-прежнему я полагаю, что несколько вещей я успею сдать до 1 января. Если редакция прекратит мне выплату денег — я ни в чем не изменю своего отношения к «Новому миру» и никому, кроме как Вам, рукописей не пошлю. Возможно, что денежная нищета послужит мне только на пользу и я смогу на пять месяцев раньше привести в исполнение задуманный мной план. План этот заключается в том, чтобы на ближайшие годы перестроить душевный и материальный мой бюджет таким образом, чтобы литературный заработок входил в него случайной и непредвиденной частью. Тряхну-ка я стариной, нырну в «массы», поступлю на обыкновеннейшую службу — от этого лучше будет и мне, и моей литературе.

В России я буду в начале октября. Пишу Вам с побережья Северного моря, гощу у сестры. В конце августа вернусь в Париж. Я затеял там собирание материалов на очень интересную тему. Поиски эти возьмут у меня месяц, а потом домой.

Горестнее, письмо «Нового мира» смягчено известием о возвращении Вашем в редакцию. В

последние месяцы русская литература не балует нас добрыми вестями, поэтому нынешний день для меня, для любителя российской словесности, — радостный, а не грустный. Признание это тем более имеет цену, что оба ваши предшественника были давнишние мои личные друзья. До свидания, Вячеслав Павлович.

P S. Сделайте одолжение: попросите секретариат написать мне, будут они мне посылать деньги или нет. Мне это, как Вы понимаете, важно знать.

И. Б.

Л. В. Никулину

Париж, 30/VIII-28
<30 августа 1928 г., Париж>

Дорогой Л. В. Я до сих пор не привел свою литературу в вид, годный для напечатания. И не скоро еще это будет. Трудновато мне приходится с этой литературой. Для такого темпа, для таких методов работы нужна бы, как Вы справедливо изволили заметить, Ясная Поляна, а ее нет. и вообще ни шиша нет, я, впрочем, этих шишей Добиваться не буду и совершенно сознательно Обрек себя на «Отрезок времени» в несколько годов на нищее и веселое существование. Вследствие всех этих возвышенных обстоятельств — яс истинным огорчением (Правда, мне это было очень грустно) отправил Вам телеграмму о том, что не моту дать материала для газеты. В Россию поеду в октябре. Где буду жить — не знаю, выберу место поглуше и подешевле. Знаю только, что в Москве жить не буду. Мне Там (в Москве) совершенно делать нечего… Какой такой дом Вы выстроили и Где?

Я сейчас доживаю здесь последние дни и целый день шатаюсь по Парижу — только теперь

я в этом городе что-то раскусил. Видел Исаака Рабиновича[108], тут, говорят, был Никитин[109], но мы с ним, очевидно, разминулись, а может, я с ним увижусь. Из новостей — вот Анненков тяжко захворал, у него в нутре образовалась туберкулезная опухоль страшной силы и размеров. Позавчера ему делали операцию в клинике, где работал когда-то Дуайен. Мы очень боялись за его жизнь, но операция прошла как будто благополучно. Доктора обещают, что Ю. П. выздоровеет. Бедный Анненков, ему пришлось очень худо. Пошлите ему в утешение, какую-нибудь писульку.

Прочитал сегодня о смерти Лашевича[110] и очень грущу. Человек все-таки был такой — каких бы побольше!

Ну, до свидания, милый товарищ, с восторгом пишу: до скорого свидания.

Ваш И. Бабель

---

[108] Примечания: 108

Исаак Моисеевич Рабинович (1894–1961) — советский театральный художник. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[109] Примечания: 109

Николай Николаевич Никитин (1895— 1963) — советский писатель. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[110] Примечания: 110

Михаил Михайлович Лашевич (1884–1928) — старый большевик, в 1926–1928 гг. ответственный работник КВЖД. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

В. П. Полонскому

Киев. 16/X-28
<16 октября 1928 г., Киев>

Дорогой Вячеслав Павлович!

Приехал только вчера, и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин[111] прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня), обратиться к Вам; похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском.

---

[111] Примечания: 111

Дмитрий Эрихович Урин (1905–1934) — автор рассказов, повестей, романов, выходивших в 20-е и 30.-е гг. в издательствах Киева и Ленинграда. В 1928 г. в Киеве вышла его первая книга «Автомобиль Святейшего Синода». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Родина — приехал я через станцию Шепетовку — встретила меня осенью, дождем, бедностью и тем, что для меня только в ней и есть — поэзией. Я совсем смущен теперь, гнусь под напором впечатлений и новых мыслей — грустных и веселых мыслей. Когда осяду и опомнюсь — напишу Вам подробно и о делах, а пока здравствуйте.

Любящий. Вас И. Бабель

В. П. Полонскому

Киев, *28/XI-28*
28 ноября 1928 г., Киев

Дорогой Вячеслав Павлович!

В третий раз принялся переписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая, на этот раз явно последняя. Ничего не поделаешь. О том, как мне солоно приходится, не хочу и говорить.

Голова побаливает часто. Былой работоспособности нет, маленько, видно, переутомился. Все же, думаю, преодолею. Анонс Ваш на 29-й год будет выполнен[112]. По совести могу сказать, что делаю все от меня зависящее. Изредка попадаются мне на глаза отчеты о литературных совещаниях. По-моему, нервным людям стреляться впору, а веселым только и остается, что гнуть свою веселую линию. Так как я причисляю себя ко второй категории, то и живу безмятежно.

---

[112] Примечания: 112

Вероятно, речь идет о рассказе Бабеля «Мария-Антуанетта», о предстоящей публикации которого в «Новом мире» было объявлено в 1927 г. Рассказ не сохранился. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Противоестественных, антилитературных переворотов в своих мозгах не допускаю и чувствую себя поэтому превосходно. Впрочем, все то, что говорится о распространении массовой литературы, — правильно. Спасибо, что из десяти мыслей — одна верна. Если принять в расчет, что вещают одни только должностные лица, то придется признать, Что процент велик. В Киеве пробуду еще недолго. Собираюсь двинуться на Северный Кавказ. О всех моих начинаниях и передвижениях буду Вас извещать.

Мой адрес пока: «До востребования. Главный почтамт. Киев». Очень Обрадуюсь, если напишете. ОТ всего сердца желаю Вам бодрости, здоровья, веселья. Веселый человек всегда прав.

Ваш И. Бабель

В. П. Полонскому

Ростов н/Д., 8/IV-29
8 апреля 1929 г. Ростов н/Д

Дорогой Вячеслав Павлович! — Отправил Вам открытку из Кисловодска. Не знаю — получили Вы ее и действителен ли еще адрес — Остоженка, 41? Моя база теперь — Сев. Кавказ, постоянный адрес — Ростов н/Д., Главный почтамт, до востребования: Летом буду работать и бродяжить, собираний поехать В Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах! а Собственным; нищенским и, по-моему, поучительным способом. Не соберетесь ли в «наши» край? Встретилась бы и пожили вместе…

Дни мои (ночи сплю, если не страдаю бессонницей) Проходят интересно, но Трудно. В смысле работы я нажал на себя с излишним усердием и снова стала побаливать голова. Все же появляются контуры возводимого здания. Да вот беда — раньше я все размахивался на романы, а выходили рассказцы короче воробьиного хвостика, а

теперь какая, с божьей помощью, перемена. Хочу отделить штучку страниц на восемь (потому что ты ведь умрешь с голоду; сукин сын, — говорю я себе); а из нее, из штучки, прет роман страниц на триста[113]. Вот главная перемена в многострадальной жизни, дорогой мой редактор, — жажду писать длинно! Тут мне, видно, и голову сложить… И так как я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому, — то можете вы вообразить, как, собственно, выгладит моя жизнь?. В августе пришлю вам первое рукописание. Это верно и честно. У меня есть основание так говорить. Помешать мне может только смерть, главным образом голодная смерть, потому что все мыслимые и немыслимые деньги кончаются. Нельзя ли возобновить до августа старинный наш договор? Вот можете смеяться сколько хотите — а у Вас не будет более верного сотрудника, если Вы вызволите меня в последний раз. Я с ужасом думаю о том, что придется согласиться на предложение одной организации и состряпать сценарий. Неохота смертная, не могу Вам сказать, какая неохота. Я настроился возвышенно,

[113] Примечания: 113

По свидетельству современников, на протяжении многих лет Бабель работал над задуманным им романом о Чека. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

преступно тратить силы и время на ненужную дребедень, а сил и времени уйдет уйма, потому что я не умею халтурить, уйдут драгоценнейшие месяцы. Впрочем, я не уговариваю. Надо думать, Вы мне не верите. А я вот чувствую, что не верить мне — это ошибка.

Сделайте милость, пришлите ответ на это письмо обратной почтой. Пробудясь от сладостного сна, я сосчитал сегодня утром свои ресурсы — их четырнадцать рублей. Как говорится — надо решаться. И потом еще просьба. До меня давно уже доходят слухи, что очередные издания «Конармии» и «Одесских рассказов» — исчерпаны. Надо признать, что Госиздат в отношении меня никогда не торопился с переизданием: то, что проделывается с «Конармией», отвратительно. Я запросил Сандомирского, после Вас — второго моего кредитора (кстати, кто это Сандомирский?), он очень любезно и дружественно ответил по всем пунктам и обошел молчанием вопрос о переиздании. А тысчонка эта спасла бы меня и рикошетом все мои обязательства. Будьте другом — позвоните Сандомирскому. Вам-то он, я думаю, ответит с полной определенностью.

Вот и все дела. Пойду сейчас на Дон смотреть на ледоход. Сегодня здесь первый весенний день,

а еще вчера была зима. Я много бы хотел Вам написать, но от весны ли, от чего ли другого болит голова. Отложим до следующего раза. Дайте руку. Будьте веселы и философичны.

Ваш, искренне Вам преданный

И. Бабель

В. П. Полонскому

Ростов н/Д, 8/X-29
8 октября 1929 г... Ростов н/Д

Дорогой Вячеслав Павлович!

Черт меня знает, какие только места я за последние два месяца не облазил. Договор мотался за мной по десяти почтовым отделениям. В Ростове я уже недели две, все мусолил договор, но подписать не решился. Посылаю его вам с всеподданнейшими замечаниями. Составлял эту бумагу король юрисконсультов, не человек, а дьявол. В п. 1 я прошу вычеркнуть слово «всех», потому что два рассказа мне придется дать в альманахи (не в журналы, а альманахи). Но событие это произойдет через несколько месяцев после того, как я начну и буду продолжать печататься в «Новом мире», — так что ущерба его приоритету не выйдет. Вместо десяти печатных листов я написал шесть для пущей верности, хотя, надо надеяться, будет больше, иначе мне пропасть. Срок я поставил более просторный, потому что, потому что... Вячеслав Павлович, дело обстоит просто. Я хочу стать профессиональным литератором, каковым

я до сих пор не был. Для этого мне нужно взять разгон. Темп этого разгона определяется мучительными (для меня более, чем для Издательства) моими особенностями, побороть которые я не могу. Вы можете посадить меня в узилище, как злостного должника (взять, как известно, нечего: нету ни квартиры, ни угла, ни движимого имущества, ни недвижимого — чем я, впрочем, горд и. чему рад). Вы можете сечь меня розгами в 4 часа, дня на Мясницкой улице — я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова. При таких барских замашках, скажете вы, не бери, сукин сын, авансов, не мучай, подлец, бедных сирот юрисконсультов… Верно. Но, право, я сам не знал размеров постигшего меня бедствия, не знал всех каверзных «особенностей», будь они трижды прокляты, матери их сто чертей!!! Теперь, как только вылезу из этих договоров, заведу себе побочный заработок, чтобы не зависеть от дьявола, жаждущего моей души. Я бы и сейчас это сделал — завел бы побочный заработок, — да нету времени, надо писать. К чему веду я злу речь? К тому, что пройдет немного времени — и я стану у вас аккуратным работником. Всей силой души я хочу (и делаю для этого все, что могу) предупредить сроки, превысить количество. Если вы верите

в это мое стремление (а по логике вещей в него нельзя не верить), то поймете, что в нашем договоре Я не ищу лазеек (на какого они мне беса?), а минимальных, твердо выполнимых условий для спокойной работы, потом — на четыреста рублей никак не могу согласиться, — тогда мне лучше в водовозы идти, тогда жрать будет нечего.

Издав вышеизложенные вопли, перехожу к веселым материям.

Если отвлечься от дел да от плохого здоровья — все обстоит благополучно, и выпадают такие дни, что на душе бывает весело. Погода у нас на ять, сады на нашей улице одеты в багрец и золото, рыбу мы в изобилии ловим в гирлах Дона и благословляем небо, что проживаема конуре, а не в столице. Вас же о самочувствии спрашивать не решаюсь — так, пожалуй, можете ответить. Что закачаешься. До свиданья, Вячеслав Павлович. Не поддавайтесь нашептываниям дурного духа и не верьте, что я сволочь; Я не сволочь, напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают.

Ваш И. БАБЕЛЬ

P. S. В договоре я избегал дополнительного срока 1/1-30, потому что 8/10 моего материала будет готово только в будущем году.

И.Б.

В. П. Полонскому

Молодёново, 10/XII-30
10 декабря 1930 г., Молодёново

Дорогой В. П.

Проваливаясь в сугробах, я пробрался сегодня на станцию и позвонил домой, в Москву. Мне сказали, что от «Известий» есть письмо «под обратную расписку». Угадываю содержание этого письма. Так вот — вещи, предназначенные для «Нового мира»[114], несколько дней тому назад (буквально несколько дней) закончены. Надо переписать их начисто. Я не могу этого сделать. Вы не дочтете капризом или бессмысленной фанатичностью, если я скажу, что мне надо опомниться, отойти, забыть И потом со свежей головой дать le dernier coup[115]! В последние месяцы у Вас не было «контрагента» более мучительно

[114] Примечания: 114

После двухлетнего перерыва в журнале появились два новых рассказа Бабеля — «В подвале» и «Гапа Гужва». На 1932 г. «Новый мир» анонсировал его рассказы «Иван-да-Марья», «У Троицы», «Медь», «Весна», «Адриан Маринец». Из них появился в печати только первый («30 дней», 1932, № 4), остальные исчезли после ареста Бабеля вместе с его архивом. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[115] Примечания: 115

Последний бой *(фр)*.

добросовестного. Я обрек себя на «заточение» и тюремное одиночество — чего больше?.. Так вышло, что, только несколько месяцев тому назад уменье писать, простое уменье, — вернулось ко мне — и видят все бухгалтерии: всего. мира — я не пренебрег этим возвращением. Очень прошу Вас: Приехать ко мне в. гости — и я не постыжусь предъявить Вам «вещественные доказательства». Печататься я начну в 1931. году — и для того» чтобы больше не было мучительных этих перерывов» надо подготовиться. Материал я предполагаю сдать весной и в дальнейшем буду аккуратен и «периодичен», как любой фельетонист… Есть литераторы с гладкой судьбой, есть литераторы о трудной судьбой (правда, есть еще третьи — безо всякой судьбы). Я принадлежу ко вторым — и оттого, что эти ухабы не поддаются бухгалтерскому учету, неужели надо в них кидаться вниз головой? Я прошу у трудной моей судьбы последнюю отсрочку. Помогите мне получить ее.

Ваш И. Бабель

Собираюсь на несколько дней в Москву: я явлюсь тогда и к Вам на последнее растерзание, и — правда, мы условимся относительно нашего №выходного дня». У нас хорошо тут. Я за Вами вышлю лошадей в назначенный день, и мы разопьем в избе деревенского сапожника самовар мира.

Ваш И. Б.

В. П. Полонскому

Молодёново. 13/XII-1930
13 декабря 1930 г., Молодёново

Дорогой В. П. Мне передали «цидульку» конторы. И смех и грех. Привлечь меня к суду — это значит подарить мне деньги. Я вызываю всех писателей СССР на «конкурс бедности» со мной, у которого не только что квартиры нет, но даже и самого паршивенького стола. Я сочиняю на верстаке (в самом буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карповича, деревенского сапожника. Носильное же платье мое и белье, даже по Сухаревской оценке, не превышают ста — может двухсот рублей. C'est tout[116].

Не судиться надо со мной, а дать мне последнюю отсрочку* о чем я и отсылаю официальную просьбу.

— Через несколько дней приеду в Москву. Я рассчитываю увезти Вас хоть на день в мое логово.

Преданный Вам

И. Бабель

---

[116] Примечания: 116
Вот и все *(фр.)*.

Ф. А. Бабель

<17июня *1931* — а., *Москва*>

<…> По отзывам — сочиняю я теперь лучше, чем раньше, — так что слова твоего Слонима[117] относятся к прошлому и для меня значения не имеют. Впрочем — надо мне отдать справедливость — к критике, хвалебной и ругательной — я отношусь с полным самообладанием и знаю ей цену — чаще всего цена ей пятак…

[117] Примечания: 117

Имеется в виду Марк Львович Слоним (1894–1976) — публицист, литературный критик, переводчик. С 1919 г. в эмиграции. Возглавлял эсеровский по ориентации ежемесячный журнал «Воля России» (1922–1932). В этом журнале под своим именем и под псевдонимом Б. Аратов вел отделы: литературный дневник, литературная хроника. Занимался творчеством советских писателей — Бабеля, Олеши, Зощенко, Леонова, Катаева. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

С. М. Михоэлсу[118]

Молодёново, 28/XI-31
28 ноября 1931 г., Молодёндео

Дорогой С. М,

Я жив и пишу рассказы, не пьесу, а рассказы. Замерзшая пьеса лежит[119], лежат сотни исписанных листов. Самое удивительное в этом деле, что я ее все-таки напишу; она не дается, но мы ее оседлаем. От этих рассуждений никому не легче, ни Вам, ни Вашей бухгалтерии. Все-таки не стоит сажать меня в долговую яму. Гордость моя заключается в том, чтобы не платить кредиторам по 20 копеек за рубль, а бедствие в том, что о рубле, его качестве и удельном весе у меня собственное представление. Если вы согласны ждать еще — ладите, и это будет правильно, если нет — я верну деньги. Я начал печататься, и гонорарий помаленьку будет капать.

---

[118] Примечания: 118

Соломон Михайлович Михоэлс (настоящая фамимя — Вовси; 1890–1948) — советский актер и режиссер. С 1929 г. художественный руководитель ГОСЕТа — Государственного еврейского театра. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[119] Примечания: 119

Имеется в виду пьеса Бабеля «Мария». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Кто-То передавал мне, что у вас директором — Токарев. Правда ли это? Если он в Москве, кланяйтесь ему от меня.

Мне очень хочется, чтобы Вы приехали в Молодёново. У нас нет комфорта, но красота неописанная. Дороги еще нет, но как Только ляжет снег, я пришлю за Вами гонца. Вы передадите ему, к какому поезду высылать лошадь, и мы весь Ваш выходной день будем говорить о любви и пить вино.

Привет от всего сердца Е. М.

Ваш И. Бабель

Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой

<2 января 1932 г., Москва>

<…> Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как «Карл Янкель». Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами рано, посмотрим, что будет дальше. Единственное, что достигнуто, — это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было. Внешне же это проявляется пока недостаточно, случайно, скомкано, не в том порядке, как надо. Впрочем, до всего дойдет очередь…

И.

Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой

<5 мая 1933 г., Сорренто>

<…> Вчера провели весь день с Алексеем Максимовичем Горьким в Неаполе. Он показывал нам музеи — античную скульптуру (до сих пор опомниться не могу), Картины Тициана, Рафаэля, Веласкеса. Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здорово. Когда мы вошли вечером в ресторан (расположенный высоко над Неаполем, вид города оттуда волшебен), где его знают уже 30 лет, все встали со своих мест, официанты кинулись целовать ему руки и сейчас же послали за старинными певцами неаполитанских песен. Они прискакали — семидесятилетние, все помнящие А. М. — и пели надтреснутыми своими голосами так — что я, верно, во всю мою жизнь этого не забуду. А. М. плакал безутешно — пил и, когда у него отбирали бокал, говорил: в последней раз в жизни… Незабываемый для ценя день. Стараюсь изо всех сил ускорить приезд Жени и Наташи. Надеюсь, что они приедут недели через полторы. Мне не советуют посылать пьесу[120],

[120] Примечания: 120
«Марию». — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

надо бы, конечно, везти самому, я еще не решил, как поступить. Горькие уезжают девятого — есть советский пароход, идущий из Лондона в Одессу, им, конечно, выгодно поехать на нем. В доме остаюсь я да Баршак — великолепный наш детский поэт, надеюсь, он подружится с Наташей. У Маршака тоже есть в Брюсселе сестра; очень возможно, что мы поедем в Бельгию вместе.

А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. А. М. обещал прислать из Москвы гонорар валютой <…>

И.

Ф. А. Бабель

<23 декабря 1934 г., Москва»

<…> Чувствую себя хорошо. Жизнь у нас необыкновенно интересна, но профессии мною выбранная, вкусы мои, правила — всё или ничего — никогда не давали повода предполагать, что личная моя жизнь будет легка, будет шествием по розам и что каждый мой шаг должен вызывать ликование моих родных, и знакомых. При рождении, своем я не давал обязательство легкой жизни. Не будучи хвастуном, я имею право сказать, что так называемые трудности сносящей мною с легкостью и мужеством, не часто встречающимися, и если я молчу об них, то это не доблесть моя и не дурной характер, а естественное и законное отвращение к такому неинтересному и незначительному сюжету. Вы создайте себе в отношении меня страхи там, где их нет и в помине. Единственная моя болезнь — это разлука с мамой, со всеми вами. Вместо того, чтобы ныть, помогите мне, приезжайте жить вместе со мной…

И.

Л. Г. Багрицкой

Одесса, 21/IX-36
21 сентября 1935 г., Одесса

Милая Лидия Густавовна.[121]

Снова хожу с глубоким волнением по одесским улицам и греюсь у моря. Лето стоит во всем блеске.

По два раза в день ем скумбрию во всех видах. Первые дни прожил в Лондонской, много часов провели с Олешей на лавочке, на бульваре… Не Соберетесь ли Вы на родину? Она бедновата, но прекрасна по-прежнему.

От всего сердца кланяйтесь Сене, Ольге Густавовне[122] и Нарбутам. Мой адрес — Главный почтамт, до востребования.

Ваш И. БАБЕЛЬ

---

[121] Примечания: 121

Лидия Густавовна Багрицкая (Суок) — жена Эдуарда Багрицкого. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

[122] Примечания: 122

Сева — Всеволод Эдуардович Багрицкий (1922–1942) — сын Багрицких, поэт.

Ольга Густавовна — сестра Л. Г. Багрицкой, жена Юрия Олеши. — *(коммент. Б. М. Сарнова)*

Ф. В. Бабель

Москва. 19/VI-36
<19 июня 1936 г… Москва>

Дорогая мамахен. Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь — чтить его память — это значит жить и работать — и то и другой делать хорошо.

Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба. День жаркий, летний. Немножко отойду, напишу еще.

И.

Ф. А. Бабель

<29 сентября 1938 г., Москва>

<…> Не помню, писал ли я вам о том потрясающем впечатлении, которое произвела на меня Ясная Поляна — стоишь в аскетических комнатах Толстого — и кажется, что яростная работа мысли продолжается в них до сих пор! <…>

Ф. А. Бабель

<22 апреля 1939 г., Ленинград>

<…> Второй день гуляю — к тому же весна… Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменно-Островскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу.

Сегодня ночью уезжаю <…>

Спецсообщение секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О ходе всесоюзного съезда советских писателей»

В кн.: «Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917–1953». М., 1999, с. 233.

———

Среда части украинской делегации продолжаются настойчивые разговоры «о бесполезности всей этой комедии».

В беседе украинских писателей Семенко, Балкана, Савченко с московскими писателями Бабелем, Пильняком и Асеевым особенно резкую позицию в отношении съезда заняли Бабель и Семенко.

БАБЕЛЬ: Мы должны демонстрировать миру единодушие литературных сил Союза. А так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов. Ведь имеются еще и корреспонденты иностранных

газет. Которые по-настоящему осветят эту литературную панихиду. Посмотрите на Горького и Демьяна Бедного. Они ненавидят друг друга, а на съезде сидят рядом как голубки. Я воображаю, с каким наслаждением они повели бы в бой на этом съезде каждый свою группу.

Справка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР об откликах литераторов и работиков искусства на статьи в газете «Правда» о композиторе Д. Д. Шостаковиче[123]

В кн.: «Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917–1953». М., 1999, с. 290.

———

<11.2.36>
[Не позднее 11 февраля 1936 г.]

Опубликование в «Правде» статьи «Сумбур вместо музыки» большинством Московских литераторов и работников искусств было встречено положительно.

Но наряду с этим нами зафиксированы отрицательные и антисоветские высказывания отдельных писателей и композиторов.

Ниже приводятся наиболее характерные из отрицательных отзывов.

И. БАБЕЛЬ: «Не нужно делать много шуму из-за

---

[123] Примечания: 123
На справке имеется резолюция: «Т. Ягоде Г. Г. доложено. Молчанов».

пустяков. Ведь никто этого не принял всерьез. Народ безмолвствует, а в душе потихоньку смеется. Буденный меня еще хуже ругал, и обошлось. Я уверен, что с Шостаковичем будет то же самое».

Донесение 1-го отделения секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях И. В. Бабеля в связи с арестами бывших оппозиционеров

В кн.: «Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917–1953». М., 1999, с. 316–318.

———

5 июля 1936 г.

27. VI Эммануэль[124] позвонил на службу А. Н. Пирожковой (инженер Метропроекта, жена И. Э. Бабеля, беспартийная). Она ему по телефону сказала: «Я страшно рада слышать Ваш голос. Я очень беспокоилась за Вас. Хотела позвонить, но просто не срискнула[125]. так как была уверена, что мне ответят, что Вас нет». Эммануэль условился в тот же день зайти за нею после работы. Он зашел и пошел ее провожать домой. Эммануэль спросил, почему она так беспокоилась. Пирожко-

---

[124] Примечания: 124
Псевдоним осведомителя.

[125] Примечания: 125
Так в тексте.

ва сказала: «Как, неужели Вы ничего не знаете? Я прямо поражена, что Вас не тронули. Арестована масса народу. У меня такое впечатление, что арестованы все поголовно, кто имел хоть какое-нибудь отношение к троцкистами На вопрос, кто же это арестован, Пирожкова ответила: «Из моих приятелей взяты Маруся Солнцева, Ефим и Соня Дрейцеры, последняя жена Охотникова Шура Соломко, Ляля Гаевская, кроме того снова арестован Яша Охотников». У Пирожковой сложилось такое впечатление, что арестовывают поголовно всех, и она даже забеспокоилась за себя и Бабеля.

Пирожкова рассказывает, что спросила Бабеля: «А Вас не могут арестовать?» На это Бабель ей ответил: «При жизни старика (Горького) это было невозможно. А теперь, это все же затруднительно». Об аресте Ефима Дрейцера им рассказала Соня Дрейцер, об аресте Сони Пирожкова убедилась сама, придя к ней в гости и застав комнату опечатанной. Об аресте Маруси Солнцевой Бабелю сообщил ее теперешний муж Джанго Гоглидзе (Гогоберидзе). Этот последний — член партии, он очень возмущен арестом Солнцевой и несколько раз просил Бабеля вмешаться в это дело. Он (Гоглидзе) говорил Бабелю: «Солнцеву все время рассматривают как придаток — то к Охотникову,

то к Ломинадзе. А она — сама по себе».

Пирожкова рассказала, что Бабель советовался с нею и решил вмешаться в это дело. Бабель решил для вмешательства выбрать конкретно Марию Солнцеву, в невинности которой он уверен более, чем в отношении остальных. Бабель решил поехать в Горки, когда там будет т. Ягода, и поговорить с ним в присутствии Надежды Алексеевны Пешковой, к которой Ягода хорошо относится.

Пирожкова рассказала, что у них (у Бабеля) 26 июня с, г. обедал Андре Жид. Кроме него обедали Эйзенштейн и какой-то французский писатель. На квартире У Бабеля живет брат Андре Мальро Ролдан Мальро, оставшийся на работе в СССР как кинорежиссер.

Эммануэль спросил: «А что, Жид и другие приятели Бабеля — французы знают об их арестах?» Пирожкова ответила, что, она думает, что не знают. Андре Жид, по словам Пирожковой, в течение всего обеда говорил о своем восхищении перед тем, как он в СССР увидел[126], говорил обо всем с восторгом. После его ухода Бабель спросил у Пирожковой, поняла она, о чем говорил Жид

---

[126] Примечания: 126
Так в тексте.

(она учится французскому языку). Пирожкова ответила, что поняла, как он восхищался всем, что здесь делается, Бабель ей тогда сказал: «Вы не верьте этому восхищению. Он хитрый, как черт. Еще неизвестно, — что он напишет, когда вернется домой. Его не так легко провести. Горький по сравнению с ним сельский пономарь. Он (Жид) по возвращении во Францию может выкинуть какую-нибудь дьявольскую штуку».

Эммануаяь И Пирожкова, ведя этот разговор на площади Ногина, неожиданно встретили Бабеля, ожидавшего трамвай. Пирожкова сказала Бабелю: «Это Роман, который, оказывается, не арестован». Бабель спросил Эммануэля шутливо: «Как это Вам не стыдно, что Вы не арестованы?» Он спросил Эммануэля, работает ли он. Эммануэль ответил, что не работает. Он спросил: «Не дают или сами не ищете?» Эммануэль ответил, что никак не может устроиться. Тогда Бабель сказал: «Может быть, это Вас и спасает, так как Вы нигде не состоите на учете». Втроем они дошли до квартиры Вабеля, и он пригласил Эммануэля зайти к ним пообедать. Бабель начал расспрашивать Эммануэля об арестах. Эммануэль ответил, что он ни с кем не видится уже давно И об арестах узнал только сегодня от Пирожковой. Бабель

спросил, знает ли Эммануэль кого-либо из бывших троцкистов, кто не был бы арестован до сих пор». Эммйайуэяь ответил, что по соседству и по старой дружбе он заходит иногда к Н. В. Полуян и знает, что она не арестована.

Бабель расспросил Эммануэля о Смилге, где он и насколько лет осужден. Бабель сказал, что никак не может узнать или понять причин последних массовых арестов, но если даже на это имеются веские причины, то какое же могли иметь отношение к этим делам такие люди, как Яшка Охотников и Ной Блискавицкий[127] — ведь они эти три года Просидели в изоляции. Для Охотникова и для Ноя Блискавицкого новый арест и новый приговор означают выключение из жизни, — сказал Бабель. «По существу — это медленный расстрел».

«Если надо заселять Колыму, — сказал Бабель, — то можно было просто предложить ехать им туда на работу в такой форме, чтобы они не могли отказаться».

Когда Бабель ушел в свою комнату, Пирожкова рассказала со слов Бабеля ряд гнусных сплетен о руководстве ВКП(б) в связи со смертью Горького.

---

[127] Примечания: 127
Так в тексте. Правильно — Ной Блискавеций.

Бабель сейчас же после обеда ушел к себе спать и на прощание пригласил Эммануэля заходить.

На возрос Бабедя. не знает ли он про судьбу А. К. Воронского, Бабель ответил: «Как же, конечно, знаю. Боронский из партии исключен, но тоже не арестован и даже квартиру ему оставили».

Помощник начальника I отделения СПО ГУГБ старший лейтенант государственной безопасности Воген

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3, Оп. 3. Д. 65. Л. 225–228. Подлинник. Машинопись.

Сводка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях И. Э. Бабеля в связи с завершением процесса так называемого «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра[128]»

В кн.: «Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917–1953». М., 1999, с. 325–326.

———

22 сентября 1936 г.

После опубликования приговора Военной Коллегии Верховного суда над участниками троцкистско-зиновьевского блока источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзейштейна. Беседа прдходила в номере гостиницы, где остановились Бабель и Эйзенштейн.

Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил: «Вы не представляете себе и не

[128] Примечания: 128

На первой странице сводки имеется резолюция: «Т. Ежову: Я. Агранов 22/IX 36 г.».

даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории.

Это страшное дело. Мы с вами, конечно, ничего не знаем, шла и идет борьба с «хозяином» из-за личных отношений ряда людей к нему.

Кто делал революцию? Кто был в Политбюро первого состава?»

Бабель взял при этом лист бумаги и стал выписывать имена членов ЦК ВКП(б) и Политбюро первых лет революции. Затем стал постепенно вычеркивать имена умерших, выбывших и, наконец, тех, кто прошел по последнему процессу. После этого Бабель разорвал листок со своими записями и сказал:

«Вы понимаете, кто сейчас расстрелян или находится накануне этого: Сокольникова очень любил Ленин, ибо это умнейший человек. Сокольников, правда, «большой скептик» и кабинетный человек, буквально ненавидящий массовую работу. Для Сокольникова мог существовать только авторитет Ленина и вся борьба его — это борьба против влияния Сталина. Вот почему и сложились такие отношения между Сокольниковым и Сталиным.

А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые

с ним сталкиваются. Троцкий, бесспорно, будет продолжать борьбу и его многие поддержат.

Из расстрелянных одна из самых замечательных фигур — это Мрачковский. Он сам рабочий, был организатором партизанского движения в Сибири; исключительной силы воли человек. Мне говорили, что незадолго до ареста он имел 11-тичасовую беседу со Сталиным.

Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского — самый блестящий знаток русского языка и литературы.

Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений.

Представляете ли вы себе, что делается в Европе и как теперь к нам будут относиться. Мне известно, что Гитлер после расстрела Каменева, Зиновьева и др. заявил: «Теперь я расстреляю Тельмана».

Какое тревожное время! У меня ужасное настроение!»

Эйзенштейн во время высказываний Бабеля не возражал ему.

Зам[еститель] нач[альника] секр[етно]-полит[ического] отдела ГУГБ старший майор

государственной] безопасности В. Берман

РЦХИДНИ. Ф. 57. Оп. 1. Д. 64. Л. 93–94. Подлинник. Машинопись.

Из показаний Бабеля на следствии

В кн.: Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995, с. 57.

———

«О чем я говорил литераторам и кинематографистам, обращавшимся ко мне за помощью и Советом? Говорив о так называемой теорий «искренности», о необходимости идти по пути углубления творческой индивидуальности, независимо от того, нужна ли такай индивидуальность обществу или нет. «Книга есть мир, видимый через человека», — и чем Неограниченнее, чем полнее раскрывается в ней человек, каков бы он ни был, тем выше художественные достоинства его произведений. Ни моральные, ни общественные соображение не должны стоять на пути к раскрытию человека и его стиля; если ты порочен по существу — то совершенствуй в себе порок, доводи его до степени искусства; противодействие общества, читателей должно толкать тебя на еще более упорную защиту твоих позиций, но не на изменение основных методов твоей работы...»

Прокурору СССР. 5 ноября 1939

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с 170.

———

«Прокурору СССР
от арестованного И. Бабеля,
бывш. члена, Союза Советских писателей.

Со слов следователя мне стало известно, что дело мое находится на рассмотрении Прокуратуры СССР. Желая сделать заявления, касающиеся существа дела и имеющие чрезвычайно важное значение, прошу меня выслушать»[129].

21. XI.39
И. Бабель

---

[129] Примечания: 129
Архив ГВП. н/п № 53641-36. л. 27.

Прокурору СССР. 21 ноября 1939

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с 170.

———

«В дополнение к заявлению моему 5/XI-39 вторично обращаюсь с просьбой вызвать меня для допроса. В показаниях моих содержатся неправильные и вымышленные утверждения приписывающие антисоветскую деятельность лицам, честно и самоотверженно работающим для блага СССР. Мысль о том, что слова мои не только не помогают следствию, но могут принести моей родине прямой вред, — доставляет мне невыразимее страдания. Я считаю первым своим делом снять со своей совести ужасное это пятно.

21. XI.39. И. Бабель[130]*».*

---

[130] Примечания: 130

Архив ГВП. н/п № 53641-36. л. 27.

Прокурору СССР. 2 января 1940

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с. 171–172.

———

«Прокурору СССР от арестованного И. Бабеля, бывш. члена Союза Советских писателей.

Во внутренней порыве НКВД мною были написаны в Прокуратуру Союза два заявления — 5/XI и 21 /XI 1939 года — о том, что в показаниях моих оговорены невинные люди. Судьба этих заявлений мне неизвестна. Мысль о том, что показания мои не только не служат делу выяснения истины, но вводят следствие в заблуждение, мучает меня неустанно; Помимо изложенного в протоколе от 9/X мною были приписаны антисоветские действия и антисоветские тенденции писателю И. Эренбургу, Г. Коновалову, М. Фейерович, Л. Тумврману, О. Бродской и группе журналистов — Е. Кригеру, Е. Вермонту, Т. Тэсо. Все это ложь, ни на чем не основанная. Людей этих я знал как честных и преданных советских граждан. Оговор вызван малодушным поведением моим на следствии.

Бут. тюрьма, 2/1 1940.
И. Бабель[131]

[131] Примечания: 131

Архив ГВП, н/п № 39041-39, л. 32. Поверх заявления зеленым карандашом написана: «В архив. Осужд. ВК Верхсуда 26/1-40 г. к ВМУН. 6/XII Лукин». ВМУн — высшая мера уголовного наказания».

Председателю Военной коллегии Верховного суда СССР

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с 172.

———

Председателю Военной коллегии Верх. суда СССР

от арестованного И. Бабеля, бывш.

члена Союза Советских писателей.

5/XI, 21/XI-39 года и 2/1-40 года я писал в Прокуратуру СССР о том, что имею сделать крайне важные заявления по существу моего деда и о том, что мною в показаниях оклеветан ряд ни в чем не повинных людей.

Ходатайствую о том, чтобы по поводу этих заявлений я был до разбора дела выслушан Прокурором Верховного суда.

Ходатайствую также о разрешении мне пригласить защитника; о вызове в качестве свидетелей— Аг Веронского, писателя И, Эренбурга, писательницы Сейфуллиной, режиссера С. Эйзенштейна, артиста С. Михоэлса и секретарши

редакции «СССР на стройке» Р. Островской.

Прощу также дать мне возможность ознакомиться с делом, так как я читал его больше четырех месяцев тому назад, читал мельком, глубокой ночью, и память моя почти ничего не удержала.

25.1.40.

И. БАБЕЛЬ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Отп. 1 экз.

Протокол судебного заседания Военной коллегии Верховного суда СССР

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с. 174–176.

26 января 1940 г. гор. Москва.

Председательствующий — Армвоенюрист В. В. Ульрих.

Члены: Бригвоенюриеты: Кандыбин Д. Я. и Дмитриев Л. Д.

Секретарь — военный юрист 2 ранга Н. В. Козлов.

Председательствующий объявил о том, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58–11 УК РСФСР.

Председательствующий удостоверяется в личности подсудимого и спрашивает его, подучил ли он копию обвинительного заключения и ознакомился ли с ней.

Подсудимый ответил, что копия обвинительного заключения им получена и он с ней ознакомился. Обвинение ему понятно.

Председательствующим объявлен состав суда.

Отвода составу суда не заявлено.

Подсудимый ходатайствует о вторичном ознакомлении дела, допуске защиты и вызове свидетелей, согласно поданного им заявления.

Суд, совещаясь на месте, определил: ходатайство подсудимого Бабеля как необоснованное о допуске защиты и вызове свидетелей — отклонить, т. к. дело слушается в порядке закона от 1.XII-34 г.

Председательствующий спросил подсудимого, признает ли он себя виновным.

Подсудимый ответил, что виновным себя не признает, свои показания отрицает. В прошлом у него имелись встречи с троцкистами Суварины и др.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого об его высказываниях по поводу процесса Якира, Радека, Тухачевского.

Подсудимый заявил, что эти показания не верны. Воронский был сослан в 1930 г., и он с ним с 1928 г. не встречался. С Якиром он никогда не встречался, за исключением 5-минутного разговора по вопросу написания произведения о 45-й дивизии.

За границей он был в Брюсселе у матери, в Сор-

ренто у Горького. Мать жила у сестры, которая уехала туда с 1926 г. Сестра имела жениха в Брюсселе с 1916 г., а затем уехала туда и вышла замуж в 1925 г. Суварина он встречал в Париже в 1935 г.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого о его встрече с Сувариным и рассказе его ему о судьбе Радека, Раковского и др. Подсудимый заявил, что он раньше дружил с художником Анненковым, которого он навестил в Париже в 1932 г. и там встретил Суворина, которого он раньше не знал. О враждебной позиции к Со». Союзу, он в то время не знал. В Париже в тот раз он пробыл месяц. Затем был в Париже в 1935 г. С Мальро он встретился в 1935 г., но последний его не вербовал в разведку, а имел с ним разговоры о литературе в ССОР.

Показания в этой части не верны. С Мальро он познакомился через Ваньяна Кутюрье» и Мальро являлся другом СССР, принимавшим большое участие в переводе его произведений на французский язык. Об авиации он мог сказать Мальро только то. что он знал из газеты «Правда», но никаких попыток Мальро к широким познаниям об авиации СССР не было.

Свои показания в части шпионажа в пользу французской разведки он категорически отри-

цает. С Бруно Штайнер он жил по соседству в гостинице и затем в квартире. Штайнер — быв. военнопленный и являлся другом Сейфуллиной Л. Н. Штайнер его с Фишером не связывал по шпионской линии.

Террористических разговоров с Ежовой у него никогда не было, а о подготовке теракта Беталом Калмыковым в Нальчике против Сталина он слышал в Союзе Советских писателей. О подготовке Косаревым убийства Сталина и Ворошилова — эта версия им придумана просто. Ежова работала в редакции «СССР на стройке», и он был с ней знаком.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого в части подготовки терактов против руководителей партии и правительства со стороны Косарева и подготовке им тергруппы из Коновалова и Файрович.

Подсудимый ответил, что это все он категорически отрицает. На квартире Ежовой он бывал, где встречался с Гликиной, Урицким и некоторыми другими лицами, но никогда а/с разговоров не было.

Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет. Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил

подсудимому последнее слово.

В своем последнем слове подсудимый Бабель заявил, что в 1916 г. он попал к М. Горькому, когда он написал свое произведение. Затем был участником гражданской войны. В 1921 г. снова начет свою писательскую деятельность. Последнее время он усиленно работал над одним произведением, которое им было закончено в черновом виде к концу 1938 г.

Он не признает себя виновным, т. к. шпионом он не был. Никогда ни одного действия он не допускал против Советского Союза и в своих показаниях он возвел на себя поклеп. Просит дать ему возможность закончить его последнее литературное произведение.

Суд удалился на совещание. По возвращении с совещания председательствующий огласил приговор.

Председательствующий
В. Ульрих
Секретарь Н. Козлов

ПРИГОВОР

В кн.: Сергей Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996, с 176.

———

«Признавая виновным Бабеля в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 8 и 11 УК РСФСР, Военная коллегия Верхсуда СССР, руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР,

ПРИГОВОРИЛА:

Бабеля Исаака Эммануиловича подвергнуть высшей мере уголовного наказание — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК. СССР от 1 /XII-34 г. в исполнение приводится немедленно».

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Воспоминания современников





С. Гехт
У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года

С. Гехт. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года. Воспоминания о Бабеле. М., «Книжная палата». 1989. С. 54.

———

В поисках прохлады присели здесь на скамью под липой Есенин с Бабелем. Сидел с ними и я.

Утром Бабель по телефону предложил мне зайти за ним к концу дня, то есть ровно в пять часов, в редакцию журнала «Красная новь», где печатались тогда из номера в номер его рассказы. Поднимаясь по плохо отмытой мраморной лестнице старомосковского трехэтажного особняка в Успенском переулке, я прошмыгнул мимо закончивших занятия работников журнала. С портфелем в руке спускался А. Воронский, за ним В. Казин и С. Клычков. В опустевшей редакции оставались чего-то не договорившие Бабель с Есениным. Есенин сидел на письменном столе, он болтал ногами, с них спадали ночные туфли.

Бабель стоял посредине комнаты, протирал очки. Он вообще часто протирал очки. Есенин уговаривал Бабеля поделить какие-то короны. Вникнув в их разговор, я разобрал:

— Себе, Исаак, возьми корону прозы, — предлагал Есенин, — а корону поэзии — мне.

Ласково поглядывавший на него Бабель шутливо отнекивался от такой чести, выдвигая другие кандидатуры. Представляя меня Есенину, он пошутил:

— Мой сын.

Озадаченный Есенин, всматриваясь в меня, что-то соображал. Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало, и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками — сушеной воблой, кружочками копченой колбасы, ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, белыми и мятными. Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный — человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным,

не очень им любимый, но и не отвергаемый.

Покинув пивную, пошли бродить. Шли бульварами, сперва по Сретенскому, затем по Рождественскому, где тогда еще был внизу Птичий рынок, и, потеряв по дороге Приблудного, поднялись к Страстному монастырю. Здесь и присели под липой, у кирпичной стены, за которой после революции поселился самый разнообразный народ. На Есенина оглядывались, — кто узнавал, а кто фыркал: костюм знатный, а на ногах шлепанцы.

Есенин, ездивший год назад в Америку, рассказывал Бабелю о нью-йоркских встречах. Скандаливший на прошлой неделе в ресторане Дома Герцена, он был сейчас задумчив, кроток. Бабеля позабавил «грозный» приговор, вынесенный правлением старого Союза писателей. Оно запретило Есенину посещать в течение месяца ресторан. Зашла речь и об ипподроме. Бабель в те дни изучал родословную Крепыша и рассказывал Есенину об этой знаменитой лошади, что-то еще говорил о призерах бегового сезона. Пролетел со стороны Ходынского поля самолет, и Бабель рассказал про свой недавний полет над Черным морем со старейшим, вроде Уточкина и Российского, авиатором Хиони. Слушая, Есенин раза

два с недоумением на меня посмотрел. Наконец проговорил: — Сын что-то у тебя большой.

За стеклами очков смеялись глаза Бабеля. Засмеялся и Есенин. Детей у Бабеля тогда еще не было, а у Есенина — двое. Есенин сказал, что собирается в гости к матери, спросил про близких Бабеля: жива ли мать, жив ли отец. С разговором об отце вспомнился и старый кот, которого гладил его чудак отец, сидя на стуле посреди тротуара на Почтовой улице. Может, потому еще вспомнился кот, что Есенин недавно опубликовал стихотворение, в котором было чудно сказано о животных:

...И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Я знал кота с Почтовой улицы, о которой Бабель говорил, что презирает ее безликость. На этой серой улице помещалась мастерская сепараторов, принадлежавшая неудачливому предпринимателю Эммануилу Бабелю. На Почтовой сомневались в коммерческих талантах человека, усевшегося посреди тротуара со старым котом на коленях. Оба мурлычут — мурлычет кот, и мурлычет-напевает старый отец. Вернувшись домой после

меланхолического времяпрепровождения около давно не приносящего доходов предприятия, он приступает к сочинительству сатирических заметок. Отец их никому не показывает. В них высмеивается суетная жизнь соседей по дому, с первого этажа до четвертого. Заносятся эти заметки в конторскую книгу. Не знаю, содержались ли в ней и деловые записи.

…И зверьё, как братьев наших меньших…

Бабель читал стихи голосом твердым, чеканным. Где взял он эти слова: «…звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»? Их поют у него в рассказе. До последних дней жизни Багрицкого он приходил к нему. Тот читал ему и свои и чужие стихи, из новых поэтов и древних. И кому принадлежат эти строки любимого Бабелем гречаниновского романса: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и брачный свой тяжкий наденет венец…»

Есенинские стихи Бабель читал и про себя и вслух. Читал ему свои стихи и Есенин, привязавшийся к Бабелю, полюбивший его. И любил он еще вот это есенинское: «Цвела — забубённая, росла — ножевая, а теперь вдруг свесилась, слов-

но неживая».

На скамье у Страстного монастыря Есенин тоже свесил голову, но очень живую, прекрасно-задумчивую. До того успокоенным и добрым было в тот день его лицо, что показалось просто ерундой, что голову эту называли — пускай даже сам Есенин — забубённой и неживой. На скамье сидели два тридцатилетних мудреца, во многом схожие в этот час — познавшие, но по-прежнему любознательные; не к месту было бы говорить о пресыщении.

Скажут: разные же люди! Еще бы! Из неукротимых неукротимый, временами вспыльчивый и даже буйный Есенин и рядом с ним тихий, обходительный, сам великолепно довершивший свое воспитание Бабель. Эту его сдержанность отмечал позднее в своей шуточной речи Жюль Ромен. Об этом рассказал мне, вернувшись из Парижа, Бабель. В Париж он ездил на антифашистский конгресс.

Французские писатели чествовали Бабеля. На банкете председательствовал Жюль Ромен. Подняв бокал, он сказал, что хочет выпить за здоровье очень хорошего, по-видимому, писателя. Жюль Ромен извинился: «У нас Бабеля, к сожалению, еще не перевели, и я не имел по этой

причине возможности прочитать его рассказы. Но я убежден, — сказал Жюль Ромен, — что это хороший писатель. Достаточно посмотреть, как достойно ведет он себя в таком обычно нелепом положении».

Кое-что Бабель прибавил, должно быть, от себя, чтобы сделать рассказ поскромней, посмешней. О Бабеле уже давно писали с большой похвалой и Ромен Роллан и Томас Манн, так что за границей его знали.

Не повлияла ли философическая сдержанность Бабеля на Есенина? Но то, что произошло вскоре, в ночь есенинской свадьбы, показало обратное. По воле Сергея Есенина Бабель сделался вдруг кутилой. Тогда не верили, не поверят и сейчас, а он между тем вернулся домой под утро, без бумажника и паспорта и вообще до того закружившийся в чаду бесшабашного веселья, что совершенно ничего не помнил. Бабель посмеивался: — В первый и последний раз.

Есенин был единственным человеком, сумевшим подчинить Бабеля своей воле. Не помня ничего о том, что ели, пили и говорили, куда поехали и с кем спорили, Бабель все же на годы запомнил, как читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Есенин.

Отчего же мне так немного запомнилось из беседы под липой у монастыря, хотя сидели они долго, несколько часов? Ослабела память? Нет, разговор таких людей запомнился бы навсегда. Или я не соображал, какие таланты сошлись за беседой? Соображал! Причина проще — оба подолгу молчали. Подошла девчонка-цыганочка, затрясла плечами. Бабель полез за мелочью в карман, сунул какую-то монету девчонке и Есенин. Оба сделали это поспешно, торопясь поскорей отделаться от не порадовавшей их сценки. Цокали вдали извозчичьи пролетки. Так громко цокали, что заглушали звон проносившейся вдоль бульвара «Аннушки». «И догорал закат улыбкой розовой», как писал, вспоминая с умилением свою юность, профессор Устрялов в журнале «Россия». Журнал читал человек, подсевший на скамью с намерением поговорить с Есениным. Узнав известного поэта, он затеял разговор о поэзии, но Есенин не отвечал, и тот недовольно поднялся. Когда ушел, стали гадать, что за человек.

— Совслуж, — сказал Бабель.

— А не нэпман? — спросил Есенин. — Может, сам Яков Рацер? Тот ведь тоже любит поэзию.

Яков Рацер публиковал в газетах стихотворные

объявления, рекламировавшие его «чистый, светлый уголек», который «красотою всех привлек».

Был нэп, так сильно переоцененный сотрудниками сменовеховского журнала «Россия», профессором Устряловым, Ключниковым, Потехиным. Презираемый народом, особенно молодежью, нэпман представлялся сменовеховцам новой, прогрессивной силой России, ее живой кровью. Красный купец, множественный Савва Морозов, подтянет остальных, он-то и двинет с поумневшими большевиками Россию по дороге цивилизации и промышленности, избавит ее от бездельников, людей нерешительных, инертных. Красный купец, а в просторечии нэпач, был, по мнению сменовеховцев, положительным героем утихомирившейся будто бы после революционных событий родины.

Сами же нэпманы — попадались среди них дальновидные, с кругозором будущее оценивали почти что скептически. Продолжая выпускать на рынок крем «Имша» или шерстяные одеяла, они надеялись на кривую: авось вывезет. Я тогда делал попытки изучать нэп. Поручил мне это дело Михаил Кольцов. Он полагал, что получится занятный репортаж. Я успел узнать, что в годы, представляющие вершину нэпа, в стране было

пятнадцать миллионеров, точнее людей, чей капитал перевалил за миллион. Тысяч по пятьсот, по семьсот имели, подползая к миллиону, девяносто шесть человек. Один из них мне пожаловался:

— Сижу в кафе на углу Столешникова и Петровки. Скромное, в сущности, кафе, доступное и вашему брату с тощим советским кошельком. Однако вы пьете свой кофе по-варшавски беззаботно — и что вам до улицы! А я вижу, как мимо кафе проходит, нарочно проходит молодежь, комсомольцы в шотландках и ковбойках, комсомолки в кумачовых косынках, и как они нарочно, специально для меня, поют: «Посмотрите, как нелепо расползлася морда нэпа». Нет, не такова обстановка, чтобы перешибить мне ленинский лозунг: «Кто кого?» Я и не сомневаюсь, кто! Вот эти!

Так что же вас держит? Вернее, чего ради при таком понимании вы нэпманствуете?

— Я сперва поверил в перерождение советской власти, затем довольно быстро разуверился, но — инерция. И это проклятое, неразумное: а вдруг?

Не так уж чадил угар нэпа, как тогда писали некоторые или как это изображалось на сцене. На виду у всех развивалась страна, заводы восста-

навливались, пускались в ход электростанции. Заметили вскоре и сменовеховцы, что отступление-то приостановилось и появились признаки наступления. Комиссары гражданской войны взялись за хозяйство. В то время я два раза слышал от Бабеля:

— Я за комиссаров.

Это когда кто-нибудь рядом вдруг заноет, туда ли мы идем, не катимся ли. Отправившись, по совету Горького, «в люди», Бабель ушел в революционный народ, в среду коммунистов, комиссаров. Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции. Таков был и сам Бабель, всегда стоявший за Ленина.

За Ленина стоял и Есенин, видел его силу глазами деревенской бедноты, своих изрядно переменившихся земляков. Естественные образы тех лет — Ленин фабричного обездоленного люда, мужицкий Ленин, Ленин индусского мальчика Сами. В траурные дни, когда в Доме союзов стоял гроб с телом Ленина, подошла ко мне в Охотном ряду крестьянка в слезах. Оплакивая великого человека, которого старуха считала и своим защитником, она спросила меня, был ли Ленин коммунистом. Вопрос она задала нелепый,

а Ленина невежественная старушка понимала верно.

Как же Есенину было не понять защитника бедноты? Ему, который сумел так хорошо пожалеть и жеребенка («Ну куда он, куда он гонится?») и который «зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», естественно было отзываться на страдания ближнего и дальнего. Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах так же лилась из его сердца, как письмо матери, до сих пор волнующее миллионы русских и нерусских сыновей. Один видный советский работник, подружившийся с Есениным на Кавказе, рассказал ему о своем брате, которому белые выкололи глаза. Никто потом не подтрунил над Есениным и не упрекнул его в неточности, когда он однажды, плача, стал вспоминать своего брата, которому белые выкололи глаза. Боль за чужого брата, проникнув в сердце Есенина, уже не оставляла его, сделалась болью за собственного брата. Может быть, натянуто? Но, во-первых, так бывает с людьми, способными страдать чужими страданиями, и, во-вторых, перечитайте стихи Есенина. Не раз вы встретитесь в них с тем, как умела отзываться его душа.

Два тридцатилетних мудреца, написал я, си-

дели в закатный час на скамье у Страстного монастыря. Умея познавать, они, и не сделавшись еще стариками, много познали — отсюда и мудрость, и горечь, которая вызовет у Есенина жалобу: «Сам не знаю, откуда взялась эта боль» — и побудит Бабеля написать грустный рассказ-исповедь «У Троицы». Как я теперь понимаю, это была драма постарения, сожаление о суетных днях жизни, «змеи сердечной угрызенья». Описывалась пивная на Самотечной площади, вблизи Троицких переулков, отсюда и название рассказа. И описывалась, кстати, та самая пивнушка, куда в году тридцатом пришел загримированный Горький. Приклеив себе извозчичью бороду, наш великий писатель надеялся скрыть в ней свою популярность. Узнали его и в таком обличье, так что затея остаться незаметным наблюдателем провалилась. Рассказ «У Троицы» Горький читал.

Во время коллективизации Бабель попросил областных работников назначить его секретарем сельсовета в подмосковном селе Молоденове. Он жил в избе над оврагом, в темной комнате, победному. Но у этого странного секретаря сельсовета лежали на столе беговые программы за многие месяцы, и в избушку над оврагом заезжали военные в чине комкоров. Километрах в двух

от Молоденова — усадьба, принадлежавшая Морозову. В белом доме с колоннами жил Горький. Бабель ходил к нему в гости, показывал все написанное. Рассказ «У Троицы» из невеселых, и чтобы представить вам его содержание, я посоветую перечесть «Когда для смертного умолкнет шумный день». Стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных» тоже написаны Пушкиным, и о них скажут, что, несмотря на горестные размышления о том, что «мы все сойдем под вечны своды», в стихах этих есть и жизнерадостное или жизнеутверждающее. Но Пушкин написал и «Когда для смертного умолкнет шумный день», оттого написал и то и другое, что был многоветвист, как дерево жизни.

В тот летний вечер, когда Есенин с Бабелем, казалось бы, спокойно подводили итоги прожитой юности, совершенно невозможно было предвидеть, что Есенина одолеет видение Черного человека, заноет растравленной раной та часть его души, которая его самого ужасала. Верилось, что покончено и с оравой оголтелых собутыльников, и с бесшабашностью, грубостью «Москвы кабацкой». А потом узналось, что с поэмой о Черном человеке он дошел до последних своих дней… Он часто водил Бабеля в чайную в Зарядье, недалеко от Красной площади. По рас-

сказам Бабеля, Есенин в Зарядье — это веселый, любознательный человек, с одинаковой охотой выслушивающий любителей соловьиного пения, содержателей бойцовых петухов или покаянные речи охмелевших посетителей чайной. Мысль о самоубийстве не могла зреть в его голове, да и в стихах он задумывался о смерти по-пушкински: «И чей-нибудь уж близок час». У Есенина это сказано так: «Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли». Когда Бабель услыхал о самоубийстве Есенина, на лице его сделалось то выражение растерянности, какое бывает у очень близорукого человека, неведомо где позабывшего свои очки. Таким оно было только в первые минуты, и уже не растерянность отражало оно несколько времени спустя, а возмущенное недоумение теми несправедливостями судьбы и несовершенством законов жизни на земле, которое он по-своему, через тысячелетия после Экклезиаста, ощутил у Троицы на Самотечной. Такими же были глаза Бабеля, когда он узнал о самоубийстве Маяковского…

В одной своей пьесе английский драматург Пристли поставил третий акт впереди второго. Действие еще будет развиваться, а мы уже знаем финал. Знаем, что этот обнищал, а тот умер,

но второй акт идет после третьего, и на сцене снова живые, обнадеженные люди. И тревога за них, любовь к ним оттого сильнее… Так вижу и я скамью под липой у Страстного монастыря и на скамье Есенина с Бабелем. Они счастливы — сперва оттого, что нашли прохладу, а потом оттого, что их коснулись лучи заходящего солнца. Бабель в шерстяной толстовке хорошего покроя, Есенин — в светло-сером костюме и ночных туфлях. Оба молоды и знамениты — круглоголовый, золотистоволосый Есенин и похожий то на Грибоедова, то на Робеспьера, снова вернувшийся «из людей» Бабель. Молодые головы полны мыслей, великолепных словосочетаний, созвучий, так много лет жизни и работы впереди, а мне, как бы все еще продолжающему сидеть на скамье рядом с ними, известно, как в драме Пристли, их будущее. Скамья в памяти осталась — простая, зеленая, на витых чугунных ножках, хотя нет давно ни липы, ни Страстного монастыря, и если попытаться определить место, то скамья окажется посередине асфальтированной площади. Может быть, еще у кого-нибудь после прочтения этих страничек тоже останется в памяти скамья под липой у Страстного монастыря в летний день 1924 года?

В Петрограде, не знаю точно, на какой улице, кажется на Забалканском проспекте, жил в годы первой мировой войны видный специалист нефтяного дела инженер Слоним. В шестнадцатом году у него поселился молодой, но уже замеченный Максимом Горьким литератор Бабель. Инженер переехал потом в Москву, где работал по осуществлению громадных заданий первой пятилетки. Оставшись в начале тридцатых годов по семейным причинам без комнаты, Бабель поселился опять в семье того же инженера — сперва на Варварке, а затем в Доме специалистов в Машковом переулке. Я бывал у него там часто. И нередко мы отправлялись с ним на прогулку по кольцу «В».

— Кольцо «В» я люблю больше других мест Москвы, — сказал раз Бабель, когда заспорили, какое кольцо лучше.

Это кольцо, по которому ходил трамвай «В», не имевшее, в отличие от «А» — «Аннушки» — и «Б» — «Букашки», ласкательного наименования, было на всем своем протяжении рабочим районом. Кольцо «А» называли белой костью Москвы, кольцо «Б» вместило в себя старину барских особняков с кварталами доходных домов и мещанскими палисадами, а на заставах кольца «В» жили рабочие

с Гужона и АМО, железнодорожники с Казанки, ремесленники миллионная трудовая московская беднота. С простым людом, с давних времен населяющим этот район, Бабель заговаривал охотнее, чем с другими, ему были ближе их заботы и страсти, их язык. Идем, скажем, от заставы к заставе, где-нибудь присядем на скамейку, и только расположились, как Бабель уже внимательнейшим образом, — а людям это всегда по душе, — выслушивает рассказ или жалобу какого-нибудь старичка, обрадованного, что попался ему наконец терпеливый слушатель. Случилось так и на Хавской улице в Замоскворечье. Услыхав, что я иду осматривать дом-коммуну, Бабель сказал, что намерен отправиться туда со мной.

Прораб повел нас по пахнувшим нитрокраской коридорам. Механическая окраска, новинка в те годы, нас тоже удивила. Закрыв лица свиноподобными респираторами, маляры постреливали из больших револьверов. Прораб предложил ознакомиться и с подземным хозяйством. Бабель чуть поотстал. Возвратившись, я нашел его беседующим с бабкой, первой бабкой, въехавшей в еще не совсем отстроенный дом. Старуха рассказывала семилетней давности историю про страшного разбойника Комарова, занимавшегося

«для вида» извозным промыслом. За железной конструкцией так называемой Шуховской башни, то есть радиостанции Коминтерна, стоял неподалеку деревянный домик, где жил раньше кровавый Комаров. Заманивая к себе торговавших у него коня людей, разбойник убивал их в сарае и, разрубив труп на части, вывозил на реку. В двадцать третьем году о нем пели в московских трамваях куплеты. На Смоленском рынке, где была десятиминутная остановка, в трамвай пробирались попрошайки и калеки. Пели они так:

Как в Москве, за Калужской заставой,
Жил разбойник и вор Комаров,
Много бедных людей он пограбил,
Много бедных сгубил он голов.

По глазам Бабеля понял я, что бабка хитрит и что хитрость ее он раскусил. Но слушал он старуху внимательно, оттого что любил слушать всякие истории, даже вздорные. За вздорными еще лучше угадывался характер человека. А лукавая бабка толковала, что Комаров от казни сбежал и прокрался в свой дом. Плела она небылицы с целью и, когда увидала, что ее разгадали, мигнула: не выдавай, мол.

По двору оголтело носилась ее внучка, боевая, с

мальчишеским норовом, девчонка. И непослушная — убегала против воли бабушки в чужие дворы, а там ямы с известью. Непослушная, но и любопытная — прислушивалась к беседе бабушки с незнакомым дядей. Бабушка и надумала ее напугать.

Вспомнив злодея Комарова, бабка осудила приговор суда: Зря расстреляли, не дело.

Это уж совсем удивительно. Как так — зря? Такого изверга, окаяннейшего преступника?!

— Легкую смерть зачем подарили зверюге? — негодовала бабка. — Эдакому мучителю облегчение сделали! Он невинную душу не щадил, а тут — бах-бах, вроде праведник какой…

— В прислугах жила? — спросил Бабель. — Не у адвоката ли?

Старуха и точно прослужила много лет в семье присяжного поверенного. Бабель любил болтливых стариков и старух. Я часто заставал его беседующим с домашней работницей в одном доме. Эту старуху звали Ульяной Ивановной. В семье, где она работала, жил квартирант по имени Джек. Собаке же хозяева дали кличку Блек. Как тут разберешь? Ульяна Ивановна, разумеется, путала, то позовет квартиранта: «Блек, обедать иди», — то напустится на собаку: «Пошел вон,

Джек!» Чудными были ей в этой семье не одни имена и клички, но и заботы и страсти хозяев. Ульяна Ивановна нуждалась в человеке, с которым можно было потолковать о деревне, о покойном муже, зятьях и невестках. Бабель был таким человеком. Старухи не замечали обычно, как он направлял нить беседы так, что в жизнеописания зятьев и невесток широко входила история войн и революций. Так направлял он беседы с Ульяной Ивановной, так делал он и здесь, на Хавской. Рассказ бабки становился описанием картин разрухи и восстановления замоскворецких заводов, начавшейся ломки старого уклада.

Бабель был по-настоящему демократичен. Это не так легко быть простым, демократичным, — даже в наши дни. Люди отрываются нередко от основ жизни, теряют ее голоса. Видали мы таких не только в среде литературной и артистической и вообще гуманитарной. Об одном литераторе, кстати, говорили, что в его семье никогда не произносится такое слово, как «пшено», а все «сублимация», «метод», «реплика». В старину говорили: «Мементо мори» помни о смерти. Неплохо бы иным повторять время от времени: «Помни о жизни!» Бабель о ней всегда помнил и не был никогда тем «человеком надстройки»,

какие плодятся в мире интеллигентных профессий. Может быть, оттого, что в ранней юности он переболел этой болезнью отчуждения и «в люди» значило у него «всегда в люди»? Оттого-то он и не жил почти в Москве.

Но и в пору своей московской жизни Бабель устраивал свой быт подальше от литературных собратьев и поближе к населению кольца «В». По той же причине он отправлялся со мной в мои путешествия по Москве, если маршруты их обещали открыть ему что-то новое в заводских, пригородных районах столицы. Я постоянно искал там явления и сценки нового быта, нужные иллюстрированным журналам. Бабель справлялся, куда и зачем я иду, и либо одобрял мои поиски и даже предлагал себя в попутчики, либо признавал их ничтожными. Скажу ему: бригада «ДИП», то есть «Догнать и перегнать», на заводе «Каучук» — одобряет. Или что отправляюсь к бывшей прачке, назначенной на пост директора ткацкой фабрики, — тоже годится, хорошо. Новым содержанием привлекла его и Хавская улица: что за дом-коммуна, какие люди заселяют его? Пошли туда вместе.

Ходили мы с ним и на Усачевку и в Тестовский поселок. С тех пор каждая московская новострой-

ка в числе моих старых знакомых, и временами мне охота их проведать. Как там мои знакомые углы и пересечения, дома и скверы? Пошел я через много-много лет и на Хавскую. Погляжу, подумал я, на дом-коммуну. Шел, увы, один… Вышел на Хавскую, зашагал к Крымскому мосту, к Каменному, стараясь припомнить, таким ли путем возвращались мы с Бабелем…

С набережной я поднимаюсь на Красную площадь. Внизу, у поворота на Варварку, мы прощались обычно. Дом, в котором квартировал Бабель у старого инженера-нефтяника, стоял рядом с бывшим Домом бояр Романовых. Инженер же, чьи последние пять лет совпали с пятилеткой (так говорит он о себе в рассказе Бабеля), трудился над новым вариантом пятилетки — довести в 1932 году добычу нефти до сорока миллионов тонн. Об этом тоже написано в рассказе Бабеля «Нефть». И Москва тех дней представлена в рассказе: она «вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем…».

Ф. Левин
Первое впечатление

Ф. Левин. Первое впечатление. Воспоминания о Бабеле. М., «Книжная палата». 1989. С. 76.

———

Говорят, что первое впечатление самое верное. Так бывает не всегда. Но бывает. По крайней мере, у меня.

Есть в Москве широкий и короткий Копьевский переулок. На одном конце его здание, в котором ныне Театр оперетты. Другим концом переулок выходит к Большому театру. Здесь в угловом доме на первом этаже в начале тридцатых годов занимало две или три комнаты издательство «Федерация». Проходя теперь мимо, я вижу мутные окна, заколоченную дверь и вспоминаю, с какой робостью и с каким уважением входил я некогда сюда. Здесь перебывали многие и многие ныне живущие и уже умершие знаменитые писатели. Сюда я приходил в 1932 году: мне поручали рецензировать рукописи.

Однажды летом я сидел здесь у окна, перелисты-

вая какую-то рукопись. За столом просматривал деловые бумаги прелестный и обаятельный человек, журналист и писатель Александр Никанорович Зуев. Мы молчали. Было тихо. Но вот хлопнула дверь, вошел неизвестный мне человек. Зуев поднялся ему навстречу со своей неизменной приветливой улыбкой, пожалуй более обычного радушной. Я мельком взглянул на незнакомца, крепко пожимавшего руку Александра Никаноровича. Коренастая, широкая и плотная фигура, крупный нос, толстые, негритянские губы в веселой и лукавой улыбке, сверкающие стекла очков, за которыми лучились умные, быстрые глаза, — вот все, что я успел заметить.

Зуев, как всегда, говорил неторопливо, тихим, мягким, немного глуховатым голосом, гость улыбался, посмеивался, похохатывал. Последовали взаимные вопросы о здоровье.

— Что давно вас не видно? Где проводите лето? — спросил Зуев.

— В Молоденове, — отвечал гость.

— Что там делаете?

— Работаю.

— А живете где?

— У старушки одной. Древняя уже старушен-

ция. С ней у меня забавный случай произошел.

И гость стал рассказывать, улыбаясь, посмеиваясь, хитро и лукаво взглядывая то на Зуева, то на меня:

— Собрался я как-то в Москву. Старуха говорит: «Исак, купи мне на саван».

«На саван?»

«На саван, батюшка. Было у меня тут приготовлено, да невестка на рубахи пустила. Помру, дак и завернуть не во что».

«Да что ты, бабушка! — говорю. — Ты здорова, помирать не торопись. Зачем тебе саван?»

«Человек своего часу не знает, саван надобно загодя припасти».

«Чего ж тебе купить?» — спрашиваю.

«Да ты что, Исак, не знаешь, из чего саван шьют? Белого материалу купи али сурового».

Я пообещал и поехал.

Закончил свои дела, пошел по магазинам, посмотрел. Все что-то не то. Бязь какая-то. В общем, купил несколько метров шелкового полотна. Приехал, отдаю, смотрю, что будет. Старуха древняя, подслеповатая. Долго она разглядывала, щупала, качала головой.

«Сколько же оно стоит? Дорогое, поди?»

Я смеюсь:

«Сколько бы ни стоило, денег с тебя не возьму».

«Как не возьмешь?»

«Так, не возьму. Это ж на такое дело, что брать нельзя».

Она долго жевала губами, опять щупала и мяла ткань, потом спросила:

«Это что ж за материя такая?»

«Полотно», — отвечаю.

«Не видала допрежь такого. Хорошее полотно. В жисть такого не нашивала, хоть после смерти в ём полежу».

И спрятала полотно в сундук.

…Гость посмеивался, но чувствовалось, что смехом он скрывал свою растроганность.

— …Да-а… вот, значит, какая бабуся!

— Может быть, вы что-нибудь новое написали? — спросил Зуев, меняя разговор. — Давайте нам.

— Нет, ничего не написал.

— А все-таки! Может, есть хоть один новый рассказ? Возьмем несколько прежних, прибавим новый и издадим книжку. А? — с надеждой говорил Александр Никанорович.

Гость задумался.

— Есть у меня один рассказ, — нерешительно

начал он. — Но, понимаете, в нем нет конца. А у меня, вы знаете, — он развел руками, — это может быть и полгода.

И он опять засмеялся, но на этот раз как-то неловко, будто извиняясь.

— Ну что ж, Исаак Эммануилович, будем ждать, — сказал Зуев. — Только уж вы никуда.

— Конечно, конечно.

Исаак Эммануилович простился. Еще раз блеснули стекла его очков, просияла широкая, добродушно-лукавая улыбка, и он ушел.

— Кто это был? — крайне заинтересованный, спросил я Зуева.

— Бабель, — ответил Александр Никанорович, снова садясь за свой стол.

Должно быть, у меня был очень глупый вид в эту минуту: так поразила меня эта внезапно прозвучавшая фамилия. Я ли не знал «Конармии», «Одесских рассказов»! У читателей моего поколения многие чеканные реплики героев бабелевских рассказов были на слуху, вошли в речевой обиход как афоризмы, как крылатые слова. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики». «Коммунистическая

наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть».

Я долго не мог опомниться: я видел Бабеля.

Много раз после того я встречал Исаака Эммануиловича — в издательствах, в писательском клубе, слышал его с трибуны Первого съезда советских писателей. Но первая встреча резче всего запечатлелась в моей памяти. Почему? Может быть, потому, что тогда я как-то всей кожей ощутил и его жизнерадостность, и веселость, и чувство юмора, и сердечную теплоту к дряхлой бабке и ко всем людям, и великую требовательность к своему искусству художника, который мог месяцами искать единственно необходимые, неожиданные, немыслимые и неповторимые слова, который знал, что тайна фразы «заключается в повороте, едва ощутимом», что «никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

Г. Мунблит
Из воспоминаний

Воспоминания о Бабеле. М., «Книжная палата». 1989. С. 76.

Нет на свете более трудной задачи, чем описать наружность человека так, чтобы читатель увидел его воочию. Что же до Бабеля, то его наружность описать особенно трудно.

Все в нем казалось обыкновенным — и коренастая фигура с короткой шеей, и широкое доброе лицо, и часто собирающийся в морщины высокий лоб. А все вместе было необыкновенным. И это чувствовал всякий сколько-нибудь близко соприкасавшийся с ним.

Прищуренные глаза и насмешливая улыбка были только внешними проявлениями его отношения к тому, что его окружало. Самое же отношение это было неизменно проникнуто жадным и доброжелательным любопытством. Он был, как мне всегда казалось, необыкновенно проницателен и все видел насквозь, но, в отличие от множества прозорливцев, проницательность порождала в нем не скептицизм, а веселое удив-

ление. Видимо, поводы для этого открывались ему не на поверхности вещей, а в их глубине, где таятся невидимые для невнимательных людей радостные неожиданности. И еще. Существует такая манера вести себя, которая называется важность. Глядя на Бабеля, даже и представить себе нельзя было, что эта самая важность бывает на свете. И это тоже очень существенная черта его облика.

Наша первая встреча была поначалу вполне деловой. Произошло это году в тридцать шестом, а может быть, немного позже.

В редакции «Знамени», где я тогда работал, редакции предприимчивой, удачливой и честолюбивой, стало известно, что Бабель написал киносценарий. Он давно уже ничего не печатал, и заполучить для журнала новое его сочинение, пусть даже предназначенное для кино, было очень заманчиво.

Долго спорили, кому поручить переговоры с Исааком Эммануиловичем, и наконец выбор пал на меня. Причина была в том, что незадолго перед тем я напечатал в «Литературной газете» статью о бабелевских рассказах, и предполагалось, что мне с ним удастся быстрее поладить.

Переговоры наши начались по телефону, и мне

пришлось долго объяснять моему собеседнику, откуда и по какому делу ему звонят. Уразумев наконец, о чем идет речь, Бабель сразу же заявил, что печатать свой сценарий не собирается.

Тогда я принялся исчислять все выгоды и радости, какие сулило бы ему это предприятие, ежели бы он на него решился. Мой собеседник не прерывал меня, и, неведомо почему, я вдруг почувствовал, что он размышляет не о том, что я говорю, а о чем-то другом. Исчерпав свои доводы, я замолчал и стал слушать потрескивание и шорох, хорошо известные всем, кому случалось вести тягостные переговоры по телефону. На мгновение мне показалось даже, что Бабель повесил трубку. Но тут я услышал его мягкий, слегка пришепетывающий голос.

— Приходите, побеседуем, — проговорил он медленно, видимо еще раздумывая, и стал диктовать мне адрес.

На другой день утром я позвонил у дверей крохотного двухэтажного особняка в переулке у Покровских ворот. Бабель сам открыл мне, и мы прошли в большую комнату первого этажа, судя по всему — столовую. Здесь хозяин указал мне на стул, а сам устроился на большом, стоявшем в углу сундуке.

Об этом сундуке я уже слышал прежде. Утверждали, что Бабель хранит в нем рукописи, тщательнейшим образом скрывая их от чужих взоров и извлекая на свет только для того, чтобы поправить какую-нибудь строку или слово, после чего снова укладывает назад пожелтевшие от времени листки, обреченные на то, чтобы пролежать без движения еще долгие месяцы, а быть может даже и годы.

Теперь, увидев сундук своими глазами, я окончательно уверовал в правдивость этой легенды.

Беседа наша поначалу оказалась гораздо короче, чем мне бы хотелось. Видимо, Бабель все обдумал еще до моего прихода и изложил свое решение кратко и ясно. Сценарий он согласен дать в «Знамя» только для ознакомления. Печатать его в нынешнем виде, по его мнению, нельзя. Это не принесет лавров ни журналу, ни автору. Что же касается договора, то, если редакции сценарий понравится и она поверит в его счастливое завершение, он согласен договор подписать, так как, получив аванс, сможет быстрее закончить работу, не отвлекаясь ничем другим. За рукописью можно прислать дня через два — к этому времени он приготовит для нас экземпляр.

Таким образом, дело, из-за которого я пришел,

было улажено быстро и, как говорится, к взаимному удовлетворению.

Минуту мы помолчали. Я встал.

Бабель посмотрел на меня поверх очков и, увидев, что я оглядываю комнату, заметил:

— Это столовая. Она у нас общая с соседом.

И, прочтя в моих глазах безмолвный вопрос, добавил:

— А сосед у меня такой, что о нем можно долго рассказывать… Нет, он не писатель. Он инженер, и не простой, а в высшем смысле этого слова. Вы сядьте, я вам про него расскажу.

Я сел. Нужно ли говорить, как мне была по душе внезапная разговорчивость моего хозяина!

— Я сказал — инженер в высшем смысле, — продолжал Бабель, — но это неточно. Штайнер — инженер до мозга костей, гак было бы правильнее о нем сказать. Он на все смотрит инженерским глазом и все вокруг себя стремится упорядочить и усовершенствовать. Инженерская сторона есть ведь во всем, а он только ее и замечает. И все может сделать своими руками. Как бы вам это объяснить… Ну вот, несколько дней назад утром, уходя из дому, я увидел, что Штайнер возится с дверным замком, который, по-моему, отлично работал, а по его мнению, требовал немедленного

ремонта. Вернулся я домой в середине дня. Штайнер лежал на полу, держа замок над головой, и сердито разговаривал с ним. На меня он даже и не взглянул, хотя мне пришлось перешагнуть через него, чтобы пройти в комнату. Через некоторое время я услышал оттуда его голос.

«Тебя сделал плохой мастер, — говорил Штайнер замку, — но я тебя переделаю. Слышишь? Я тебя переделаю, и ты будешь работать как следует, а не только тогда, когда привернут неровно. Что это за мода такая — работать только в неправильном положении?»

Он спрашивал так, что мне почудилось, будто разговор ведется с живым существом, и если бы я вдруг услышал, как замок тоненьким металлическим голосом оправдывается или спорит, я ничуть бы не удивился. Но замку, видимо, нечего было ответить, и он молчал. А часом позднее Штайнер постучался ко мне, сел, вытер платком лоб и сообщил, словно продолжая начатый разговор:

«Все в порядке. Теперь он работает как следует. Но я вам должен сказать, что человек, который стоит на сборке этих замков, негодяй».

И он изложил мне свою теорию происхождения скверно сделанных вещей, которая многое

в жизни объясняет. Теория эта состоит в следующем: на свете нет людей, которые брались бы за работу с намерением сделать ее заведомо скверно, с мыслью: «Сделаю-ка я плохой замок», например. Но горе в том, что, принимаясь за работу с самыми лучшими намерениями, человек слабый и лишенный чувства ответственности на каком-то этапе вдруг обмякает и, вместо того чтобы преодолеть очередную трудность (а ведь всякая работа состоит из больших и малых преодолений), решает, что «сойдет и так». И вот тогда на свет рождаются нелепые, уродливые, глупые вещи, которые портят нам жизнь. Похоже на правду, как вы считаете?

Бабель смотрел на меня искоса и ждал ответа. Мне понравилась теория инженера Штайнера, и я об этом сказал.

Нравится она мне и сейчас. И, вспоминая тот разговор, я подумал, что люди, работающие по принципу «сойдет и так», по всей вероятности, руководствуются этим принципом не только в своей работе, но и в манере жить, и в отношениях с окружающими, и в воспитании детей, да мало ли в чем еще. И не будь у этих людей могущественных противников, вроде бабелевского соседа, в мире воцарился бы хаос и человечество

погибло бы в необъятной, бездонной трясине небрежно сработанных вещей, непродуманных дел и опрометчивых слов. Но это, разумеется, шутка. Если же говорить серьезно, то именно Бабель, может быть даже в большей степени, чем его сосед, представляется мне олицетворением высокого чувства долга во всем, что он говорил и думал, а главное — во всем, что писал.

И даже окончание истории со сценарием для «Знамени», которое, на первый взгляд, противоречит этому моему представлению, на самом деле может служить отличным доводом в его защиту.

Окончилась же эта история так.

В назначенный день рукопись сценария была получена в редакции, и мы сразу принялись читать ее, передавая по листкам из рук в руки. Происходило это в одной из двух комнат Дома Герцена на Тверском бульваре, где помещалось тогда «Знамя», и участвовали в «читке» молодые литераторы, фактически делавшие журнал.

Прочтя сценарий, мы смущенно переглянулись. Был он не то чтобы плох или по каким-либо причинам неудобопечатаем, — вовсе нет. С этой стороны все в нем было совершенно благополучно. Но это был «не Бабель» в том смысле, в каком это говорится о произведениях художников,

копирующих картины или рисунки прославленных мастеров, хотя каждая строка в рукописи, лежавшей перед нами, без всякого сомнения, была написана собственной бабелевской рукой.

В живописи самый небрежный набросок, несколько торопливых штрихов, сделанных большим художником на обрывке бумаги, не оставляют сомнений в их принадлежности именно данному автору, носят на себе неповторимый отпечаток его творческой личности, а главное — в какой-то мере выражают его талант.

В литературе — не то. Здесь индивидуальная писательская манера становится явственно ощутимой только после того, как первоначальный набросок будет много раз перечеркнут, выправлен и заново переписан.

В живописи индивидуальность художника ощутима, как почерк, как тембр голоса, как походка. В литературе она становится видна простым глазом лишь после того, как писатель, основательно потрудившись, найдет для своей мысли то единственное выражение, которое характерно для него одного и которое почти никогда не является ему сразу. Даже и самый талант писателя чаще всего сказывается не в случайно оброненной фразе, а в способах ее обработки,

не в словах, какие первоначально вылились на бумагу, а в тех, что в дальнейшем были выбраны автором как «кратчайшее» и наиболее точное выражение его замысла.

Так вот, рукопись, только что прочитанная нами и, вне всякого сомнения, принадлежавшая перу Бабеля, была наброском, еще не отмеченным его манерой, талантом и мастерством. В качестве материала для работы кинорежиссера сценарий был совершенно готов, но украшением для журнала, каким мы представляли себе сочинение Бабеля, он, разумеется, оказаться не мог.

Установив это, мы до крайности огорчились. И только один из нас, самый старший и поэтому больше всех других умудренный опытом и, разумеется, именно поэтому занимающий должность ответственного секретаря редакции, снисходительно улыбнулся и поспешил нас всех успокоить.

— Не горюйте, — сказал он. — Зло еще не так большой руки! — Секретарь знал классиков и любил при случае об этом напомнить. — Договор с Бабелем мы заключим, а ежели он, как это в последнее время с ним частенько случается, не выполнит взятых на себя обязательств, мы эту самую рукопись возьмем и тиснем в нынешнем ее

виде и ничего при этом не потеряем. Понятно?

Нам было понятно. Потому что, касаемо лавров автору, Бабель был прав и ждать радостей от этого своего сочинения ему не приходилось. Но с журналом дело обстояло иначе. Появление в «Знамени» любого сочинения прославленного молчальника при всех обстоятельствах было бы воспринято как подлинная сенсация.

Итак, договор был подписан, аванс автору выплачен, и мы стали терпеливо ждать его сообщения о том, что работа закончена.

Прошел месяц, за ним другой. Бабель молчал. И тогда мне было поручено осведомиться у него, как идут дела, и выяснить, к какому номеру журнала он даст нам сценарий.

Помаявшись и выслушав несколько раздраженных напоминаний от непреклонного секретаря, я наконец нашел в себе силы позвонить Исааку Эммануиловичу и получил приглашение посетить особнячок у Покровских ворот.

И вот я снова сижу в большой, сумрачной в этот осенний день комнате, и снова напротив меня сидит этот загадочный человек, что-то рассказывает, лукаво и победительно улыбаясь, и так же, как в первую нашу встречу, я пытаюсь разобраться в тайне его бесовской власти, заставляющей

меня глядеть на все его глазами, и так же, как в прошлый раз, ничего не могу понять.

Может быть, тайна его очарования в этой улыбке? В глазах, весело и внимательно поблескивающих из-за круглых очков? В чуть заметном еврейском акценте, придающем оттенок язвительного и вместе с тем беззлобного юмора всему, что он говорит? Нет, пожалуй, все-таки дело не в этом. Пожалуй, секрет здесь в удивительном даре видеть вещи по-своему и говорить о них так, что они и перед собеседником предстают в неожиданных ракурсах, обретая при этом неожиданный смысл, цвет и значение.

Ведь вот — холодная, не очень уютная комната, мокрое, полуголое дерево за окном, тягостная миссия, с которой я сегодня сюда пришел, а сижу я в этой комнате с ощущением праздника, и век бы не уходил и слушал этот высокий голос, век бы провел в стране чудес, где обитает и куда приоткрыл мне дверь этот человек, которому все на свете интересно, мило и весело и который глядит на все словно сквозь цветные стекла, придающие самым будничным вещам видимость праздничного великолепия.

Я принуждаю себя вспомнить, что пришел сюда с прозаическим и суровым служебным заданием,

и, хоть это очень трудно дается мне, произношу наконец слова, которые мне было поручено произнести, которые я обязан был произнести, чтобы добыть для «Знамени» сочинение Бабеля, необходимое нам для вящей славы нашего детища. Так же, как и мои товарищи из редакции, я люблю наш журнал и пекусь о его успехе, и это помогает мне найти силы сказать Бабелю о намерении нашего секретаря напечатать сценарий в нынешнем виде, если в ближайшее время мы не получим новый его вариант.

Надо было видеть, как испугали мои слова Исаака Эммануиловича. Как мгновенно исчезла улыбка с его лица, каким озабоченным оно стало при одной мысли о том, что эта угроза может осуществиться.

— Вы еще очень молодой человек, — произнес он грустно и укоризненно, такой молодой, что, вероятно, никогда не задумывались о том, какая странная у нас с вами профессия. Корпим в полном одиночестве у себя за столом, во время работы боимся каждого нескромного взгляда, а потом все свои мысли, все тайны выбалтываем читателю. Ведь вот, казалось бы, — чего проще? Напечатать этот самый сценарий, как предлагает ваш секретарь редакции… О нем напишут, что

он не поднимается до уровня прежних моих вещей, или, наоборот, что знаменует собой новый этап в моем творчестве… Бр-р, терпеть не могу этих слов — творчество… знаменует… А потом напечатают рассказ, который я сейчас пишу, и все опять станет на место… Ничего страшного. Да? Немного заголиться, а потом прикрыть стыд. Как вы считаете?

— Разве вы еще не начали работать над новой редакцией? — спросил я с некоторым даже ужасом в голосе.

— Над какой новой редакцией? О чем вы говорите?

— Над новой редакцией сценария.

— Нет, не начал. И не начну. Он мне не нравится. Я его написал не для чтения, а для кино.

— Разве вы… Зачем же вы нам его дали?

— Чтобы иметь возможность кончить рассказ. Понимаете?

— Нет, не понимаю. Любой журнал заключил бы с вами договор на этот рассказ. Почему же…

— Почему? Потому, что, когда я его кончу, в нем будет самое большее четыре страницы.

— На машинке! — зачем-то полюбопытствовал я.

— Да. На машинке, — с вежливой язвительно-

стью ответил Бабель.

Мы замолчали. Голое дерево за окном было теперь именно таким, каким ему надлежало быть, — мокрым, уродливым и печальным, да и в комнате стало как-то сумрачно, еще более сумрачно, чем на улице.

— Что же делать?

Я задал этот вопрос, вдруг почувствовав настоятельную потребность найти выход не столько для «Знамени», сколько для Бабеля, интересы которого стали мне почему-то очень близки.

— А черт его знает, что делать! Вероятно, не писать рассказы по четыре странички, да еще тратя на них по нескольку месяцев. Романы нужно писать, молодой человек, длинные романы с продолжением, и писать быстро, легко, удачливо.

Он замолчал и, опершись руками о край сундука, на котором сидел, забарабанил пальцами по его крышке.

— Вы меня не поняли, — сказал я, прижав руку к груди, — я говорю не вообще, а о том, как быть сейчас. Как быть со «Знаменем», со сценарием? Ведь если вы не дадите ничего другого, он его напечатает.

— Нет у меня сейчас ничего другого… Слушайте, а что, если я попрошу вашего секретаря вернуть

мне рукопись? Могло же быть так, что у меня не осталось для работы ни одного экземпляра?

Я ответил не сразу. Но через мгновение тишина, воцарившаяся в комнате, показалась мне невыносимой, и я прервал ее с тем чувством, с каким делаешь глоток воздуха, долго пробыв под водой.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, отведя глаза.

— Ничего я не имею в виду, — ответил Бабель и встал.

Я продолжал сидеть. И вдруг, решившись и все еще глядя в сторону, предложил:

— Лучше я с ним поговорю. Вам он рукопись не отдаст. Бабель посмотрел на меня с удивлением и пожал плечами.

— Пусть будет так, — согласился он. И, помолчав, спросил: — Это вы написали статью о моих рассказах в «Литературной газете»?

Я кивнул. Говорить мне было трудно.

— Я уже не помню, там тоже были эти самые слова — «творчество», «знаменует», «шаг вперед»? — улыбнувшись, спросил Исаак Эммануилович.

— Кажется, были. Во всяком случае, могли быть, — проворчал я. Хоть я и чувствовал, что в моем решении помочь Бабелю получить назад

рукопись не было ничего дурного, мне было до смерти стыдно.

Позднее я понял, что стыдиться здесь было совершенно нечего и удивительный, чуть ли не лучший бабелевский рассказ, над которым он тогда работал (это был рассказ об итальянском трагике ди Грассе), может оправдать любые уловки, необходимые для того, чтобы довести его до конца. Но в тот день, когда, простившись с Исааком Эммануиловичем, я брел по мокрым переулкам и скользким бульварам, и на следующее утро, когда повел с секретарем редакции хитроумные переговоры, неожиданно увенчавшиеся успехом, это чувство стыда не покидало меня ни на минуту.

Разумеется, я понимал, что интересы «Знамени» и редакционный патриотизм не должны заслонять от меня целей гораздо более высоких и значительных. Не мог я не понимать и того, что. дождавшись, когда Бабель даст нам рассказ вместо сценария, мы поступим умнее и дальновиднее, но, понимая все это, собственную мою роль во Всей этой истории я продолжал считать недостойной, а о вероломстве Бабеля старался не вспоминать.

Теперь я думаю обо всем этом совершенно

иначе. Теперь, множество раз перечитав его сочинения, перелистав пожелтевшие странички его писем, записок и заявлений, установив, что рассказ «Любка Казак» был переписан множество раз, вспомнив то, чему сам был свидетелем, я с полной уверенностью могу утверждать, что Бабель, преследуемый кредиторами самых разных профессий и рангов, редакторами толстых и тонких журналов, имевших неосторожность заключить с ним договоры, юрисконсультами издательств, пытавшимися поправить последствия легкомысленной тороватости своих шефов, Бабель, о затянувшемся молчании которого в тридцатые годы писались статьи и фельетоны, произносились речи на писательских пленумах, даже, кажется, пелись куплеты с эстрады, — что этот лукавый, неверный, вечно от всех ускользающий, загадочный Бабель был человеком с почти болезненным чувством ответственности и героической добросовестностью, человеком, готовым вытерпеть любые лишения, лишь бы не напечатать вещь, которую он считал не вполне законченной, человеком, для которого служение жестокому богу, выдумавшему муки слова, было делом неизмеримо более важным, чем забота о собственном благополучии и даже о своей писа-

тельской репутации.

А теперь я расскажу о маленьком чуде (мне вдруг подумалось, что оно, может быть, было и не таким уже маленьким, но пусть судит об этом читатель), которое Бабель совершил на моих глазах вскоре после происшествия со сценарием.

Эта история началась с того, что Исаак Эммануилович позвонил Мне по телефону и, сообщив, что собирается прислать к нам в редакцию одного начинающего писателя, просил повнимательнее к нему отнестись. Разумеется, я обещал ему это со всеми радушием и обязательностью, на какие был способен в те далекие времена, когда все подобные формы человеческого общения считались предосудительно старомодными.

На другой день посланец Бабеля явился в редакцию.

Это был очень странный начинающий писатель. Маленький, кривоногий, одновременно тщедушный и жилистый, с пергаментным лицом, по которому решительно нельзя было определить его возраст, он бочком протиснулся в дверь и, пожав мне руку своей маленькой, похожей на птичью лапу, рукой, оказавшейся на ощупь твердой, как камень, положил передо мной на стол тощую папочку.

Любопытство разбирало меня, и не успел посетитель уйти, как я развязал на папке тесемки и принялся за чтение.

Рукопись представляла собой несколько рассказов, о которых у меня сейчас сохранились самые смутные воспоминания. Помню только, что речь в них шла о лошадях, что рассказы показались мне ничем не примечательными и что о печатании их не могло быть и речи. Почему они могли понравиться Бабелю, было мне совершенно неясно.

Не откладывая дела в долгий ящик, я тут же позвонил Исааку Эммануиловичу и рассказал ему о моем впечатлении. Мне показалось, что он немного смутился.

— Ладно, если у вас есть возможность, пришлите мне рукопись, я в ней поковыряюсь, — сказал он и повесил трубку.

У меня такая возможность была, и назавтра наша редакционная курьерша Шурочка, худенькая молодая женщина, знавшая почти всех московских писателей и очень здраво и осмотрительно распределявшая между ними свои симпатии и антипатии, отнесла Бабелю злополучную папку. Кстати, Шурочка утверждала потом, что в жизни не видывала таких вежливых и стеснительных

чудаков.

Прошло несколько дней. И однажды, не позвонив предварительно, начинающий писатель с кривыми ногами снова явился в редакцию и, ни слова не говоря, снова положил передо мной свою рукопись.

Теперь я не испытывал к ней никакого интереса и удосужился взяться за нее далеко не так скоро, как в прошлый раз. К моему удивлению, в папке было всего только два рассказа. Но, прочтя их, я почувствовал страстное желание немедленно выбежать на улицу, чтобы рассказать их историю всем без исключения друзьям и знакомым. Редакционные мои товарищи, ставшие первыми жертвами моего энтузиазма и разделившие его полностью, показались мне для этого недостаточно широкой аудиторией.

Надо сказать, что удивляться и восхищаться здесь действительно было чему. Рассказы стали попросту превосходными!

Те самые рассказы, которые две недели назад были вполне посредственными, теперь светились и искрились так, что читать их было истинным удовольствием. И самое удивительное заключалось в том, что достигнуто это было совершенно чудесным способом.

Однажды Бабель сам рассказал о том, как некий молодой литератор, очутившийся в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег, помогает богатой и неумелой почитательнице Мопассана переводить «Мисс Гарриэт». В переводе, сделанном этой дамой «не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной текучей, с длинным дыханием страсти», и герой «всю ночь прорубает просеки в чужом переводе».

«Работа эта не так дурна, как кажется, — пишет Бабель. — фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».

Это место из бабелевского рассказа множество раз цитировалось, но я не могу удержаться, чтобы не привести его вновь, потому что написать об этой тайне превращения посредственной фразы в хорошую никто до сих пор не сумел лучше, чем Бабель.

Есть такая манера исправления чужих сочинений, когда поверх зачеркнутых строк правщик лепит новые строки, которые, в лучшем случае, сохраняют всего лишь смысл того, что было написано автором.

Здесь было совсем другое. Пять-шесть поправок (и притом незначительных) на страницу — вот все, что сделал Бабель с сочинениями своего питомца. Пять-шесть поправок! И страница, перед тем ни единой своей строкой не останавливающая внимания, словно равнина, по которой бредешь, думая только о том, как бы поскорее дойти до ее конца, стала живописной, как лесная тропа, то и дело дарящая путнику новые впечатления. Я бы не поверил, что такое возможно, если бы не убедился в этом своими глазами. Но я это видел и считаю своим долгом засвидетельствовать истинность всего здесь рассказанного.

К тому же в происшествии этом была еще одна сторона.

Однажды мы рассказали о чуде, сотворенном Бабелем, нашему постоянному автору и другу журнала, биографу Свифта и поклоннику Бернарда Шоу, Михаилу Юльевичу Левидову, печатавшему в «Знамени» язвительные критические статьи о литературе и публицистические заметки на международные темы.

Выслушав эту историю и пробежав в гранках рассказ, о котором шла речь, Михаил Юльевич весело расхохотался.

— А вы не догадываетесь, в чем здесь дело, — я

имею в виду, конечно, не правку, а причину, из-за которой Бабель заинтересовался этим начинающим писателем, как вы его называете? — спросил он, похохотав.

Мы недоуменно переглянулись.

— Не все ли равно, почему он заинтересовался? — заметил кто-то из нас.

— Разумеется, все равно, — согласился Левидов. — Я понимаю, что самое интересное здесь именно чудо, сотворенное Бабелем. Но вам все же следовало бы знать, что он давний и пламенный ценитель и завсегдатай бегов, а автор этих рассказов, судя по вашим описаниям да и по его собственным сочинениям, не кто иной, как наездник. Вот и пораскиньте мозгами и попытайтесь понять, откуда это знакомство и почему Бабель подарил этому человеку свое высокое покровительство.

Дальновидный наш секретарь вперил в меня свои устроенные в форме буравчиков глазки, острый блеск которых с трудом умеряли роговые очки, и спросил, прищурившись:

— И после этого вы все еще будете утверждать, что мы получим обещанный сценарий или рассказ у вашего Бабеля, который играет на скачках и водится с наездниками и лошадьми? Помните,

как у него у самого сказано в «Закате»? «Еврей, который уважает раков, может себе позволить с женским полом больше, чем себе надо позволять, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и биллиардисты»!

Секретарь процитировал Бабеля почти точно, лишний раз оправдывая свою репутацию литературного начетчика, на меня же и самая эта цитата, и то, как к месту она была приведена, произвело очень тягостное впечатление. Здесь и впрямь было отчего загрустить.

И все же финал этой сцены, несмотря ни на что, оказался мажорным.

— Прежде всего, — заметил Левидов, обращаясь к редакционному секретарю, — не следует путать скачки с бегами. Мне, как лошаднику, тяжело это слышать. А потом разрешите сказать вам, что вы не знаете Бабеля. Он настоящий чудак, а настоящие чудаки никогда не действуют в зависимости от выгоды или исходя из чего-нибудь такого, чем руководствуются другие люди.

Упомянув о «других людях», Левидов принялся разглядывать секретаря безо всякой нежности, и можно было предположить, что в споре между «другими людьми» и чудаками он сочувствует чудакам. А покончив с разглядыванием и

повернувшись к нам всем своим маленьким, костлявым, стариковским корпусом, он закончил свою речь так:

— Самое же смешное во всей этой истории то, что Бабель никогда не играл на бегах. Слышите? Никогда не играл и не играет. Просто он без памяти влюблен в лошадей, и на ипподроме, в этом богом проклятом месте, где люди сходят с ума от азарта и жадности, он смотрит только на них. Понимаете? Только на лошадей, и ни на что другое. А вы говорите — раки!

…Было время, когда деятели РАПП сочинили и принялись прилежно распространять легенду о Бабеле как об отшельнике, как о человеке, далеком от современности, как о таком, что ли, буржуазном специалисте, который мастерски делает свое дело, не задумываясь о том, чему он служит и чему служат плоды его трудов. Рассказывали, что редактор одного из наших толстых журналов пригласил Бабеля к себе и, усадив в мягкое, глубокое кресло, такое глубокое, что сидящий в нем человек начисто терял чувство собственного достоинства, стал убеждать его познакомиться с жизнью, написав для начала «что-нибудь о тружениках метро». Рассказывали, что редактор этот, впервые в тот день познако-

мился с Бабелем, сразу же стал говорить ему «ты» и называть его просто Исааком.

Выслушав наставления своего нежданного литературного покровителя, Исаак Эммануилович встал с кресла и благодушно заметил:

— Слушай, дружок, а не поговорить ли нам о чем-нибудь другом? О литературе у тебя как-то не получается.

Покровитель не сразу понял, что ему было сказано. Он привык фамильярничать сам, но никогда и не предполагал, что ему могут ответить тем же. А пока он собирался с мыслями, Бабель вежливейшим образом откланялся и ушел.

Говорят, беднягу долго потом отпаивали валерьянкой, утешая рассказами о том, как упорен Бабель в своих заблуждениях и как с ним и прежде ничего не могли поделать все пытавшиеся обратить его на путь истины.

Что же до виновника всех этих треволнений, то он и после описанного здесь разговора продолжал проводить жизнь в разъездах по колхозам и городкам, не всегда отмеченным на карте кружками, продолжал завязывать знакомства и дружбы с людьми самых разнообразных профессий, продолжал жадно всматриваться в приметы нового в душевном обиходе советских людей,

приметы, о которых он и прежде так великолепно писал в «Карле-Янкеле», в «Нефти», в «Марии».

Однажды мне посчастливилось присутствовать при беседе Исаака Эммануиловича с молодыми писателями. Он говорил в этот вечер о разном, и в частности — о столь необходимом писателю любопытстве и способности удивляться. Но самым важным мне показались его высказывания о Толстом. Я записал их и перескажу сейчас с почти стенографической точностью.

— Я очень удивился, — сказал тогда Бабель, — узнав, что Лев Николаевич весил всего три с половиной пуда. Но потом я понял, что это были три с половиной пуда чистой литературы.

— Что это значит? — спросил кто-то из сидевших за большим столом, за которым велась беседа.

Мне показалось, что Бабель не расслышал вопроса. Во всяком случае, начало его следующей фразы было не похоже на ответ человеку из-за стола.

— У меня всегда, когда я читал Толстого, было такое чувство, словно мир пишет им, — произнес он медленно и задумчиво.

Понимаете? Его книги выглядят так, будто существование великого множества самых разных

людей, животных, растений, облаков, гор, созвездий пролилось сквозь писателя на бумагу. Как бы это сказать поточнее?.. Вам известно, что в учебниках физики называют «проводниками» и что имеют в виду, когда говорят о сопротивлении, которое оказывает проводник электрическому току, текущему в нем? Так вот, совершенно так же, как и в случае с электрическим током, среди писателей есть проводники, более или менее близкие к идеальным. Толстой был идеальным проводником именно потому, что он был весь из чистой литературы.

Не надо думать, что писательский талант состоит в умении рифмовать или сочинять замысловатые, неожиданные эпитеты и метафоры. Я сам этим когда-то болел и до сих пор давлю на себе эти самые метафоры, как некоторые не очень чистоплотные люди давят на себе насекомых.

И именно поэтому я говорю вам! Как можно меньше опосредствований, преломлений, стараний щегольнуть способом выражения! Высокое мастерство состоит в том, чтобы сделать ваш способ писать как можно менее заметным. Когда Толстой пишет: «во время пирожного доложили, что лошади поданы», — он не заботится о строении фразы, или, вернее, заботится, чтобы

строение ее было нечувствительно для читателя. Представьте себе человека, выбежавшего на улицу с криком: «Пожар!». Разве он думает о том, как ему следует произнести это слово? Ему это не нужно. Самый смысл его сообщения таков, что дойдет до всякого в любом виде. Пусть же то, что вы имеете сообщить читателю, будет для вас столь же важным, пусть в поисках выражения ваших замыслов перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы».

Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись, — он иногда улыбался так, что, глядя на него, казалось, будто греешься у огня, — предложил:

— Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом?

И принялся рассказывать байки про старика, так твердо верившего в существование вседержителя, что это следовало называть уже не верой, а уверенностью. Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений.

Как жаль, что их не слышал редактор, призывавший Бабеля изучать жизнь. Он бы, разумеется, тоже устал от них, но это, по крайней мере, пошло

бы ему на пользу.

Кирилл Левин
Из давних встреч

Воспоминания о Бабеле. М., «Книжная палата». 1989. С. 147.

———

Как-то в двадцатых годах я пришел к писателю Ефиму Зозуле, жившему в то время в переулке возле Плющихи, и застал у него молодого человека в парусиновой блузе и мятых сереньких брюках. Он был среднего роста, плотный, в очках, с высоким лбом и начинающейся от лба лысиной. Глаза его и выражение лица сразу привлекали внимание: в глазах была какая-то веселая недоверчивость, — они как бы говорили: все вижу, все понимаю, но не очень во все это верю. Лицо с широкими крыльями носа и толстыми губами выражало спокойную, доброжелательную силу.

Зозуля познакомил нас, и, услышав фамилию Бабель, я с нескрываемым восхищением взглянул на него. Бабель с дружелюбной усмешкой встретил мой взгляд. Я недавно прочитал в маленькой книжке «Библиотеки «Огонек»»

его великолепные рассказы, так не похожие на то, что печаталось в те годы. Удивительные по языку, сжатости, скульптурной выпуклости, эти рассказы произвели на меня впечатление необыкновенное.

Бабель спокойно поглядывал на меня и, когда Зозуля сказал ему, что я родился в Одессе, спросил, на каких улицах я там жил.

— Заметьте, — вежливо добавил он, и глаза его смеялись, — я спрашиваю, не на какой улице, а на каких улицах вы жили, так как полагаю, что ваши уважаемые родители часто меняли квартиры и каждая следующая была хуже предыдущей.

Я смотрел на него с удивлением — он точно в воду глядел — и глупо спросил его, откуда он все это знает.

Озорная улыбка скользнула по его губам, и он назидательно объяснил, лукаво поглядев на меня:

— Вы худы и, как говорят мясники, упитаны ниже среднего. В вашем костюме я бы не рискнул пойти на дипломатический прием, а ваши ботинки не лучше моих. — Он вытянул из-под стола, за которым сидел, ногу в стоптанном башмаке. — Движения у вас несвободные, вы, вероятно, жили в тесноте и не были в родстве с Ашкенази и

Менделевичами (известные одесские богачи). И еще я утверждаю, что ваша последняя квартира была на окраине города, вернее всего — на Молдаванке. Вы будете это отрицать?

Зозуля хохотал, откинувшись на спинку стула и подхватывая рукой свалившиеся очки.

— Н-не буду, — растерянно пробормотал я, — последняя наша квартира была на Прохоровской улице, угол Мясоедовской.

Бабель удовлетворенно кивнул головой.

— Это рядом с Костецкой, — сказал он, — улицей в некотором отношении замечательной: Костецкая первая в Одессе улица по поставке воров, налетчиков и других не признаваемых законом профессий. Хорошо, что вы не жили там.

Столько острой наблюдательности и вместе с тем милого юмора было в его словах, произносимых медленно и значительно, с неуловимым каким-то оттенком, столько веселья было в его глазах, мягко смеющихся, с острыми лучиками в них, что я рассмеялся. Очень понравился мне этот человек, он показался мне простым и мудрым, многое понимающим и ничуть все же не возомнившим о себе.

После этого первого знакомства мне пришлось не раз встречаться с ним. Когда в редакции

«Прожектора», литературно-художественного журнала, где я работал, собирались писатели, Бабель чаще всего забивался в уголок, внимательно слушал, но говорил редко, всегда коротко и сжато, как и писал. Как-то я подметил его взгляд. Лукавая мудрость погасла в нем, и глаза смотрели печально и отрешенно, — Бабель был уверен в это мгновение, что никто не наблюдает за ним.

Однажды в нашей редакции он увидел снимок, изображавший группу писателей на конях. В центре группы был снят Зозуля. Он сидел в седле в пиджаке, мягкой шляпе и брюках навыпуск. Бабель захохотал и спросил, откуда взялся этот снимок. Ему сказали, что снимок сделан в манеже на Поварской (теперь улица Воровского), где группа литераторов обучается верховой езде. Он попросил меня сводить его туда, и через несколько дней мы с ним пошли в манеж.

Здесь шла обычная, будничная учеба.

Бабель с отвращением оглядел трясущихся в седлах, гнувшихся вперед всадников, распустивших повод и вот-вот готовых свалиться, и скорбно покачал головой. Мы пошли с ним на конюшню. В денниках стояли лошади. Он с наслаждением принялся оглядывать их, вдыхая их терпкий запах, что-то тихо бормотал.

— Как приятен мне этот запах, — сказал он, — как много он напоминает.

Мы остановились возле денника, где стоял черный злой жеребец Воронок, статный, красивый, весь собранный. Я предупредил Бабеля, что заходить к Воронку опасно — жеребец может укусить или лягнуть.

— Ничего, — сказал Бабель, — я не боюсь.

— Прими, — властно скомандовал он, и когда Воронок, храпя и кося выпуклым и синим, как слива, глазом, неохотно отступил к боковой стенке, спокойно и неторопливо вошел в денник и огладил жеребца по шее. — Ну что? ласково прошептал Бабель. — Давай познакомимся? Э, да ты уже старый, может быть, даже воевал в Конармии? Да ведь по тебе видно, что ты боевой конь! Хороший какой!.. — И, мягко коснувшись шеи и холки жеребца, он пощекотал его горло. Воронок сильно втянул воздух, обнюхал лицо Бабеля и негромко заржал.

— Как будто узнал вас, — сказал я, — а мог ведь и укусить.

— Конь прекрасно понимает человека, — сказал Бабель, — и презирает тех, кто его боится.

Мы вернулись в манеж. Там прыгали через препятствия. Длинный парень, бестолково взма-

хивая руками и распустив повод, вел коня на хертель низенький забор с торчащими поверху метелками. Лошадь шла ленивой рысцой, небрежно помахивая хвостом, и, дойдя до хертеля, спокойно обогнула его.

Неожиданно послышался чей-то чужой, яростный голос:

— Как вы ведете коня? Собрать его надо, поднять в галоп и выслать на препятствие. А вы развесили повод, пассажиром в седле болтаетесь!

Я с удивлением оглянулся — это кричал Бабель. Всадник презрительно оглядел его мешковатую, штатскую фигуру и издевательски промолвил:

— Кричать все здоровы, а ты бы, очкарик, сам попробовал прыгать.

Бабель мигом оказался возле него.

— Слазь! — грозно приказал он. — Раз, два!

Ошеломленный парень испуганно сполз с седла, и Бабель перетянул стремена — они были ему длинны. Потом он захватил левой рукой повод вместе с гривой, вдел левую ногу в стремя, взялся правой рукой за луку седла, оттолкнулся от земли правой ногой и мигом очутился в седле. И уже это был новый, незнакомый мне Бабель. Он свободно и чуть небрежно сидел в седле, на-

тянутым поводом подтянул голову коня, сжал его бока шенкелями и коротким толчком каблуков выслал его вперед. И конь словно преобразился — весь подобрался, почуяв настоящего всадника.

Бабель повел его короткой, собранной рысью, описал вольт и резким толчком правого шенкеля поднял коня в галоп, потом свернул к хертелю, наклонился вперед, и конь птицей перелетел через препятствие. Молодецки спрыгнув на землю, не выпуская повода, Бабель крикнул парня и командирским голосом бросил:

— Повод не распускать, в седле сидеть крепче!

И быстро пошел из манежа. Во дворе он повернулся ко мне и промолвил:

— Человека трудно понять. Вдруг снова захочется скакать, брать барьеры… Не мог видеть, как портят коня.

Слава пришла к нему стремительно, шумно. Его переводили на иностранные языки, редакции лучших журналов осаждали его, просили рассказы. А он работал медленно, вытачивая каждое слово, каждую фразу, вечно недовольный собой, подолгу ничего не давая в печать, но не прекращая упорной работы. Он был общителен, у него было много друзей, и когда он, обычно немногословный, вдруг начинал рассказывать, — а

рассказывал он изумительно, — было похоже, будто художник широкими мазками набрасывает на полотно то, что видно ему одному.

Он любил жизнь, много и жадно изучал ее и какие только профессии не перепробовал! Известно, что после его первых неудачных рассказов Горький послал его «в люди» и Бабель семь лет ничего не печатал, хотя все это время работал. А в тридцатых годах он, уже знаменитый писатель, опять усомнился в том, правильно ли пишет, и снова замолчал, перестал печататься, не переставая писать.

Его выбрали делегатом на Международный конгресс писателей, происходивший в Париже. Лучшие писатели Франции встретили его как равного переводы его рассказов были известны и высоко оценены там. Он прекрасно владел французским языком и блистательно выступил на конгрессе. Его слушали с глубоким интересом, аплодировали.

В последний раз я видел Бабеля в 1936 году, когда он собирался на Северный Кавказ, где подолгу гостил у своего друга, партийного работника Кабардино-Балкарской АССР Бетала Калмыкова. Мы шли по Тверской, и он напомнил мне, что я обещал подарить ему мою последнюю книгу. Я

предложил сделать сегодня же вечером.

— Я сегодня уезжаю, — ответил Бабель, — но когда вернусь, вы придете ко мне с вашей книгой.

Он был спокоен, шутил. Прощаясь, сказал, пожимая мне руку:

— Вы не собираетесь в Одессу? Если поедете, поклонитесь ей от меня.

ИЗ УСТНЫХ РАССКАЗОВ О БАБЕЛЕ

Дорожка испорчена

Дорожка испорчена. Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться. М. «Аграф». С. 14.

———

Однажды Бабель уговорил нескольких своих друзей-литераторов поехать с ним на бега. Он был страстным лошадником, и ему захотелось приобщить к этой своей страсти приятелей. Собрались, поехали. И вдруг — хлынул ливень.

— Ничего не поделаешь. Возвращаемся, — вздохнул Бабель.

Друзья удивились, что он так испугался дождя. Стали уговаривать его не отменять поездку, приводя обычные в таких случаях резоны: не сахарные, мол, не растаем. Да и дождь, судя по всему, зарядил не надолго, скоро кончится.

— Да не в нас дело, — объяснил Бабель. — Дорожка-то уже испорчена. Так что настоящих бегов сегодня уже не будет.

Туг с ним. понятно, спорить никто не стал. Но один из компании бабелевских друзей, особенно

настырный, этим объяснением не удовлетворился.

— Я не понимаю, — сказал он. — Если дорожка испорчена, так ведь она испорчена для всех лошадей одинаково. Значит, лучшая лошадь все равно прибежит первой?

— Вы ничего не понимаете в лошадях, — сказал Бабель, — но вы кое-что смыслите в литературе.

Итак, представьте! Объявлен конкурс на лучший рассказ. Участвуют: Лев Толстой, Чехов, Потапенко, Ефим Зозуля… По логике вещей первую премию должен завоевать Толстой. Верно? Ну, может быть, Чехов… А теперь вообразите, что по условиям конкурса пишущего подвешивают за ноги к потолку. Завязывают ему глаза. Рот затыкают кляпом. Правую руку заламывают назад и приматывают веревкой к спине… Ну, и так далее… При таких условиях на первое место вполне может выйти Ефим Зозуля… Теперь, надеюсь, вы поняли, что такое испорченная дорожка?

Еще бы им было этого не понять! Нарисованная Бабелем картина была хорошо им знакома. По собственному грустному опыту.

Он мне не понравился

Он мне не понравился. Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться. М. «Аграф». С. 236.

———

Горький сказал Бабелю:

— Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик… Расскажете что-нибудь… Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Бабель пришел.

Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как Шаляпин тоскует вдали от родины, как тяжко ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане.

Наконец он заговорил.

— Вопрос о возвращении на родину народного артиста Шаляпина, — медленно сказал он, — будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ.

Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках…

Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И — молчание.

Замолчал и Бабель.

— Реки Сибири, товарищ Бабель, — так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, — как известно, текут с юга на север. И потому никакого народнохозяйственного значения не имеют…

Эту историю — тогда же, по горячим следам события — рассказал одному моему знакомому сам Бабель. А закончил он свой рассказ так:

— Что вам сказать, мой дорогой. Я ему не понравился. Но гораздо хуже другое.

— ???

— Он мне не понравился.

На всякого мудреца…

На всякого мудреца. Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться. М. «Аграф». С. 73.

———

Вдова поэта Николая Дементьева («Коля, не волнуйтесь, дайте мне!..»), по слухам, покончившего с собой из-за того, что его вербовали в стукачи, сама, кстати сказать, отсидевшая свой срок, рассказывала про такой свой разговор с Бабелем.

— Двух вещей мне не дано испытать, — сказал он ей. — Я никогда не буду рожать и никогда не буду сидеть в тюрьме.

— Ох, Исаак Эммануилович, — вздохнула она. — Вспомните пословицу: от тюрьмы, да от сумы…

— Ну что вы, — сказал Бабель. — При моих-то связях.

Из книги Б. Сарнова «Перестаньте удивляться»

Из воспоминании жены

Антонина Пирожкова
Семь лет с Исааком Бабелем

Антонина Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем. New York, 2001. С. 100–137.

———

Он попросил меня 15 мая привезти к нему Марка Донского, кинорежиссера картины «Мои университеты», и его ассистентов. Они должны были заехать за мной в Метропроект в конце рабочего дня.

Дома в Москве в то время, кроме меня, оставалась Эстер Григорьевна Макотинская, возившаяся с маленькой Лидой, и домашняя работница Шура.

15 мая 1939 года в 5 часов утра меня разбудил стук в дверь моей комнаты. Когда я ее открыла, вошли двое в военной форме, сказав, что они должны осмотреть чердак, так как разыскивают какого-то человека.

Оказалось, что пришедших было четверо, двое полезли на чердак, а двое остались. Один из них

заявил, что им нужен Бабель, который может сказать, где этот человек, и что я должна поехать с ними на дачу в Переделкино. Я оделась, и мы поехали. Шофер отлично знал дорогу и ни о чем меня не спрашивал. Поехали со мной двое.

Приехав на дачу, я разбудила сторожа и вошла через кухню, они за мной. Перед дверью комнаты Бабеля я остановилась в нерешительности; жестом один из них приказал мне стучать. Я постучала и услышала голос Бабеля:

— Кто?

— Я.

Тогда он оделся и открыл дверь. Оттолкнув меня от двери, двое сразу же подошли к Бабелю. «Руки вверх!» — скомандовали они, потом ощупали его карманы и прошлись руками по всему телу — нет ли оружия.

Бабель молчал. Нас заставили выйти в другую, мою комнату: мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли.

Когда кончился обыск в комнате Бабеля, они сложили все его рукописи в папки, заставили нас одеться и пойти к машине. Бабель сказал мне:

— Не дали закончить… — И я поняла, что речь идет о книге «Новые рассказы». И потом тихо: — Сообщите Андрею. — Он имел в виду Андре

Мальро.

В машине мы разместились так: на заднем сиденье — мы с Бабелем, а рядом с ним — один из них. Другой сел вместе с шофером. «Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем», — проговорил Бабель и надолго замолчал.

Я не могла произнести ни слова. Сопровождающего он спросил по дороге:

— Что, спать приходится мало? — и даже засмеялся.

Уже когда подъезжали к Москве, я сказала Бабелю:

— Буду вас ждать, буду считать, что вы уехали в Одессу… Только не будет писем…

Он ответил:

— Я вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой.

— Но я не знаю, как сложится моя судьба…

И тогда сидевший рядом с Бабелем сказал:

— К вам у нас никаких претензий нет.

Мы доехали до Лубянки и въехали в ворота, машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми.

Бабель крепко меня поцеловал, проговорил:

— Когда-то увидимся… — и, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь.

Я окаменела и не могла даже плакать. Почему-то подумала — дадут ли ему там стакан горячего чая, без чего он никогда не мог начать день?

Меня отвезли домой на Николо-Воробинский, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: «Острил?» — «Пытался», — последовал ответ.

Я попросила у них разрешения уехать, чтобы не опоздать на работу. Мне разрешили: я переоделась и ушла. Эстер Григорьевна Макотинская, которая ночевала у нас, успела мне шепнуть, что кое-что из одежды Бабеля сумела перенести в мой шкаф, чтобы сохранить для него на случай необходимости. Обыск все еще продолжался. Еще до моего ухода один из сотрудников НКВД куда-то звонил и согласовывал вопрос — сколько комнат мне оставить: одну или две. Потом, обратившись к другому, сказал:

— Есть распоряжение оставить две комнаты.

По тем временам это было даже удивительно: из трех комнат нашей московской квартиры мне с маленькой дочкой оставили две изолированные комнаты. Но тогда я даже не обратила на это внимания. Кроме того, мне сообщили номер телефона 1-го отдела НКВД, куда я могла бы обра-

титься в случае необходимости.

Опечатали комнату Бабеля, забрали рукописи, дневники, письма, листы с дарственными надписями, вырванные при обыске из подаренных Бабелю книг…

Теперь, вспоминая телефонные переговоры, перебирая в памяти подробности обыска и ареста, я прихожу к убеждению, что Бабель уже тогда, заранее, был осужден.

Я работала в Метропроекте целый день, собрав все силы, ездила договариваться с проектной организацией Дворца Советов, просила передать нам сталь марки ДС для конструкций станции «Павелецкая», которую я тогда проектировала.

Марк Донской с товарищами, которых я в тот день должна была привезти к Бабелю на дачу, ко мне в Метропроект не заехали, как было условлено: очевидно, уже знали, что Бабель арестован.

Когда рабочий день закончился, я добралась домой и только тогда разрыдалась. Случившееся было ужасно, хотя я не предвидела плохого конца. Я знала, что Бабель ни в чем не может быть виноват, и надеялась, что это ошибка, что там разберутся. Но многоопытная Эстер Григорьевна, у которой к тому времени были арестованы и муж, и дочь, не старалась меня утешить.

Позже я узнала: почти одновременно с Бабелем арестовали Мейерхольда и Кольцова.

Чувство беспомощности было всего ужаснее: знать, что самому близкому человеку плохо, и ничем ему не помочь!! Мне хотелось немедленно бежать на Лубянку и сказать то, чего они не знают о Бабеле, но знаю я. От этого шага меня уберегла все та же Эстер Григорьевна. Хорошо, что у меня была работа. Хорошо, что у меня была Лида. Возвращаясь домой, я брала ее на руки, прижимала к себе и шагала с ней часами из угла в угол. Эстер Григорьевна уходила домой: надо зарабатывать переводами деньги на посылки заключенным. А я оставалась одна.

Некоторое время спустя я написала обо всем своей матери в Томск и просила ее приехать. Когда она приехала и взяла на себя заботу о девочке, я стала работать как одержимая и еще поступила на курсы шоферов-любителей только затем, чтобы не иметь ни минуты свободного времени.

Никаких свиданий с арестованным не разрешалось, только один раз в месяц можно было передавать для него 75 рублей. Во дворе здания на Кузнецком мосту имелось небольшое окошечко, куда в очередь передавали эти деньги, называя фамилию арестованного. Никаких расписок не

давалось. Длинные очереди растягивались от этого окошечка по всему двору до ворот и даже выходили за ворота. Я всегда была так удручена, что никого не замечала в отдельности. Публика в очереди интеллигентная, в основном женщины, но были и мужчины.

Единственным человеком, позвонившим мне через несколько дней после ареста Бабеля, была Валентина Ароновна Мильман, работавшей! тогда секретарем у Эренбурга. Домой ко мне она прийти побоялась, назначила мне встречу у Большого театра и предложила деньги. От денег я отказалась, они у меня были, так как я продолжала работать, но этот ее поступок, редкий по тем временам, я никогда не забывала и с тех пор в течение многих лет была с ней в дружеских отношениях.

Не сразу, но позднее я догадалась, что деньги эти предлагал мне Эренбург; у его секретаря, получавшего небольшое жалованье, не могло быть такой суммы.

С Эренбургом меня познакомил Бабель. Было это в 1934 году, когда однажды вечером Илья Григорьевич пришел к Бабелю, с которым чаще встречался не у нас, а у себя дома или в каком-нибудь кафе.

Ни во время ужина, ни после него Эренбург не обращал на меня никакого внимания. Он курил сигару, пепел сыпался прямо на пиджак, разговаривал с Бабелем и даже не смотрел в мою сторону. Я к этому не привыкла, обычно все, с кем меня знакомил Бабель, всегда ко мне обращались, о чем-нибудь расспрашивали, проявляя ко мне особый интерес. Это объяснялось тем, что я была инженером-строителем, занималась проектированием московского метрополитена. Женщина-инженер в то время была редкостью, а строительством метро в Москве интересовались все.

И только с Эренбургом было иначе; и как ни старался Бабель пробудить у него интерес ко мне: сказал ему, что я работала на строительстве Кузнецкого металлургического завода, о чем Эренбург писал «День второй», ничего не помогало, он ко мне не обращался.

Само собой разумеется, что поэтому Эренбург мне сразу не понравился, и в последующем, если он приходил, я после ужина или обеда уходила в свою комнату.

Во время ареста Бабеля, в мае 1939 года, Эренбурга не было в Москве, он был за границей и вернулся в Москву в 1940 году.

Как мне рассказала Валентина Ароновна, распаковывая чемодан, Эренбург прежде всего вытащил из него книгу Бабеля, она лежала сверху.

Узнав об этом, я поняла, как Эренбург любит Бабеля, и это заставило меня изменить к нему прежнее отношение. Книги Бабеля изымались тогда из всех библиотек, хранить их дома тоже было небезопасно.

Месяца через два после ареста Бабеля меня начали одолевать судебные исполнители. У Бабеля были договоры с некоторыми издательствами, и по этим договорам получены авансы. Вот эти-то авансы издательства в судебном порядке решили получить с меня. Ко мне один за другим являлись судебные исполнители и переписывали не только мебель в оставшихся двух комнатах, но и мои платья в шкафу. Я не знала, что делать, и решила обратиться за советом к нашему с Бабелем «очень хорошему приятелю» Льву Романовичу Шейнину, работавшему тогда в прокуратуре.

Когда он меня увидел, то страшно смутился, даже побледнел. А сколько вечеров до самого рассвета провел он в нашем доме, какие комплименты расточал и мне, и нашему дому! Придя в себя, Шейнин попросил меня пройти в соседнюю

комнату и подождать. Через несколько минут он вошел, но не один, а с другим человеком в форме. Очевидно, решил для безопасности разговаривать со мной при свидетеле. Шейнин выслушал меня, успокоился, как мне казалось, от того, что мой приход не означал просьбы хлопотать за Бабеля. Совет позвонить в 1-й отдел НКВД дал мне не Шейнин, а человек, пришедший с ним. И когда я поднялась, чтобы уйти, Шейнин вдруг спросил: «А за что арестовали Бабеля?» Я сказала: «Не знаю», — и ушла.

Дома, воспользовавшись в первый раз телефоном, оставленным сотрудником НКВД во время обыска, я позвонила в 1-й отдел и рассказала о судебных исполнителях, переписывающих вещи. Мне ответили:

— Не беспокойтесь, больше они не придут.

И действительно, с тех пор никто из них не приходил.

Пришлось мне звонить в НКВД и еще один раз. Дело в том, что однажды мне позвонили из Одинцовского отделения милиции и сообщили, что из опечатанной дачи в Переделкине украдены ковры. Один из них лежал на полу в моей комнате, другой, поменьше — на полу в комнате Бабеля. Украл их приехавший с Украины родной брат

нашего сторожа. Его поймали тогда, когда он уже продал эти ковры, и отобрали у него 2 тысячи рублей. Эти деньги сотрудник из милиции Одинцова просил меня получить. Я позвонила в 1-й отдел, и там мне сказали: «Поезжайте и получите».

Я собралась поехать туда не сразу, прошел, быть может, целый месяц. И когда я приехала в Одинцово, оказалось, что за это время бухгалтер украл эти деньги, был судим и получил 5 лет тюрьмы.

Перед праздником 7 ноября к нам на Николо-Воробинский пришел молодой сотрудник НКВД и попросил для Бабеля брюки, носки и носовые платки. (Не помню, звонил ли он по телефону, прежде чем зайти.)

Какое счастье, что Эстер Григорьевне во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала пришедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах.

Раздумывая с мамой о визите сотрудника, мы пришли к выводу, что это — хороший признак, какое-то облегчение, как нам казалось.

Деньги для Бабеля у меня принимали начиная с июня до ноября, а потом сказали, что Бабель

переведен в Бутырскую тюрьму и деньги нужно отнести туда. Там у меня взяли деньги в ноябре и декабре 1939 года, а в январе 1940 года сообщили, что Бабель осужден военным трибуналом.

Знакомый адвокат устроил мне встречу с прокурором из военного трибунала, худым, аскетичного вида генералом. Он, посмотрев бумаги, сказал, что Бабель осужден на 10 лет без права переписки и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

От кого-то, еще до свидания с этим генералом, я слышала, что формулировка «10 лет без права переписки» означает расстрел и предназначена для родственников.

Я спросила об этом генерала, сказав ему, что не упаду тут же в обморок, если он сообщит мне правду. И генерал ответил: «К Бабелю это не относится».

После визита к прокурору военного трибунала я ходила в приемную НКВД за официальным ответом. Помнится, это был второй этаж небольшого, быть может, двух- или трехэтажного и весьма невзрачного здания, которое стояло на месте теперешнего «Детского мира» на площади Дзержинского.

Помню мрачную приемную, из которой ве-

ла дверь в угловую комнату с картотекой. За столом сидел молодой и курносый очень несимпатичный человек и давал ответ на вопрос, предварительно порывшись в картотеке. После официального ответа, уже известного мне, он сказал:

— Тяжелое наказание… Вам надо устраивать свою жизнь…

Рассердившись, я ответила:

— Я работаю, как еще я должна устраивать свою жизнь?

И даже такой явный намек не убедил меня тогда в том, что Бабель расстрелян.

Все лето 1939 года я с маленькой Лидой оставалась в Москве, вывезти ее за город не могла: я не брала отпуск, ждала изо дня в день каких-нибудь известий о Бабеле. В Москве то и дело возникали слухи: кто-то сидел с Бабелем в одной камере, кто-то передавал, что дело Бабеля не стоит выеденного яйца… Я пыталась встретиться с этими людьми, но каждый раз это не удавалось. Оказывалось, не сами они сидели с Бабелем, а какие-то их знакомые, которые либо уехали из Москвы, либо боятся со мной повидаться. А однажды летом ко мне пришла дочь Есенина и Зинаиды Райх Татьяна. Она слышала, что Мейерхольд и

Бабель находятся вместе где-то, ей кто-то передал, и не знаю ли я чего-нибудь. Я ничего не знала. Как понравилась мне эта милая, юная девушка, такая белокурая и с такими чудными голубыми глазами! И не только своей внешностью, но этой готовностью поехать куда угодно, хоть на край света, — лишь бы узнать хоть что-нибудь о Всеволоде Эмильевиче, своем отчиме, и как-нибудь ему помочь. Такая готовность поехать за Бабелем на край света была и у меня. Но, поговорив о том, какие ходят слухи, как мы обе гоняемся за ними, а они рассыпаются в прах, мы расстались. Больше я никогда не видела эту девушку, но знала о ее нелегкой судьбе, о сыне, которого она, кажется, назвала Сережей.

У членов семьи осужденных было еще одно право — каждый год один раз подавать заявление в приемную НКВД на Кузнецком мосту, 24, справляясь о судьбе заключенного, а потом в назначенное время приходить за ответом. Такие заявления опускались в ящик, висевший на этом здании, а за ответом приходили к окошку уже внутри помещения. И в ответ на мои заявления в 1940 и 1941 году весной ответ был одинаковый: «Жив, содержится в лагере».

Когда я впервые прочла список НКВД о том,

что у Бабеля взяли из вещей во время ареста, я удивилась скрупулезности этого списка, в котором перечислены обрывки пленок, какой-то ремешок, старые сандалии и т. д. И тогда абсолютно не обратила внимания на то, что в списке нет часов, хотя у Бабеля их было двое — одни, принадлежавшие еще отцу, другие на руке, и часы были швейцарские. Отсутствовали в списке его сберегательные книжки, одна с небольшой суммой денег, другая — на две тысячи рублей: на эту книжку Бабель положил деньги Рыскинда. Когда Рыскинд получил гонорар за свою пьесу, Бабель ему сказал: «Я положу Ваши деньги на свою книжку и буду выдавать Вам по частям, иначе вы их сразу все растранжирите, а Вы должны спокойно работать, я поручился за Вас перед издательством, что пьеса Ваша будет закончена в срок». И кроме того, Бабель, конечно, имел наличные деньги, не так много, но он, уехав в Переделкино, должен был платить писательскому дому за обеды, платить жалованье сторожам. Никаких следов ни часов, ни денег, ни сберегательных книжек в списке нет. Что это значит?

Просто во время обыска украли? И это было узаконенное воровство. Как они могли получить деньги Бабеля по сберкнижкам? Или органы все

могли?..

В конце лета 1940 года к нам приехали за конфискованными вещами.

В это время дома была я и мой брат Олег, гостивший у меня; мама с Лидой жили на даче, снятой мной в это лето поблизости от станции Кубинка по Белорусской железной дороге. Приехавший сотрудник НКВД открыл дверь опечатанной комнаты Бабеля, сам перешел в столовую и начал составлять опись, попросив меня перечислять вещи.

Я удивилась, когда услышала, что брат вызвался помогать, то есть снимать шторы, свертывать ковер, перетаскивать костюмы и белье.

Сотрудник НКВД остался этим доволен и даже очень удивлен, что мы так спокойно относимся к такому событию. Спокойно, а потом и просто весело. Дело в том, что когда я вышла в свою комнату, то увидела, что Олег не только отрезал половину ковра, ту, что была на тахте и частично на стене, оставив там лишь ту, которая лежала на полу, но и подменил шторы. В моей комнате висели шторы из обыкновенной плотной ткани с нанесенным на нее рисунком, а в комнате Бабеля шторы были из прекрасной материи на подкладке и с фланелью внутри. Увидев эту замену, я

рассмеялась; смех было трудно скрыть, отчего сотрудник НКВД удивлялся нашему веселью. Из столовой взяли очень красивый буфет черного дерева с вырезанными в нем фигурками. Буфет старинный, Бабель сам купил его у кого-то. Кроме того, из столовой были взяты еще какие-то мелкие вещи и картины. Оставили обеденный стол, стулья и диван. Мне было жалко отдавать тахту Бабеля, которую он сам заказывал, и я попросила забрать диван из столовой и оставить тахту, на что сотрудник охотно согласился. Когда опись вещей была закончена, пришли рабочие и погрузили все в машину.

Комната Бабеля снова была заперта на ключ и долго оставалась пустой. Только весной 1941 года в ней поселился следователь НКВД с женой.

Для него мы были не люди, а враги народа. Иначе он нас и не называл.

По образованию этот следователь был инженером, но, очевидно, еще в институте был завербован в органы и по специальности не работал.

Что он делал на войне, я не знаю, но, наверно, чем-то провинился, так как вскоре после окончания войны был уволен из органов и должен был искать себе работу. Ему нашли место заведую-

щего пивным залом в одном из районов Москвы. Туда приходили с водкой, угощали бесплатно. А районное начальство надо было угощать уже самому заведующему и с ними пить. Так он и спился, стал алкоголиком. Дважды ему угрожала конфискация имущества за растраты, но вещи и мебель срочно увозились из комнаты. Конфисковать было нечего.

Наконец его уволили. Он устраивался на работу еще несколько раз, все снижаясь в должности, был под конец даже ночным сторожем в каком-то складе, но и оттуда его уволили за пьянство.

Жена от него ушла.

Жить с ним в одной квартире было трудно и противно. Каждый день пьяный, то стучит в двери наших комнат, то оставляет дверь на улицу открытой настежь, а газовые конфорки зажженными, то приводит всяких пьяниц с улицы. Заснуть до его прихода домой было опасно. Услышав его храп, я вставала, спускалась вниз, закрывала распахнутую дверь, тушила газовые горелки и освещение, и только тогда можно было спать.

И с таким человеком нам пришлось прожить в коммунальной квартире 17 лет.

Как добры русские люди к пьяницам, можно

было судить на примере нашего соседа. Где бы он пьяный ни сваливался, его всегда кто-нибудь притаскивал домой. То это были какие-то женщины, то молоденький милиционер, то хорошо одетый мужчина, перепачкавший о него свою одежду. Приводили, звонили и говорили: «Забирайте своего пьяницу». И ни разу он не простудился и не заболел, пока наконец не умер от паралича сердца. Умер ночью в соседнем доме на кухонном столе.

Узнав об этом, я обрадовалась, так я устала от жизни с этим соседом.

В кабинете Бабеля за все 17 лет пребывания там этого бывшего следователя не было ни одной книги. Он ничего не читал вообще. Удивительно: человек учился в школе, закончил институт, а никакой потребности в чтении не приобрел. И такими людьми в нашей советской стране заменялись люди интеллигентные, образованные, талантливые.

Мне не хотелось писать обо всем этом, но тему эту — повседневной жизни семьи арестованных — я до сих пор не встречала в мемуарной литературе, хотя рассказов о подобных вещах наслушалась достаточно. Ведь это еще одна сторона «культа личности».

Обстановка в Метропроекте для меня после ареста Бабеля не изменилась. Большинство из ближайших ко мне сотрудников ничего не знали, а кто и знал, со мной об этом не говорили.

Осенью 1939 года меня вызвали в партийный комитет Метропроекта и предложили работать агитатором в домах-общежитиях Метростроя. И когда я сообщила, что у меня арестован муж, секретарь парткома спокойно сказал:

— К вам это отношения не имеет.

Сам ли он так решил или получил какие-нибудь указания на мой счет от органов, так для меня и осталось тайной.

Во всяком случае, я не чувствовала к себе какого-нибудь недоверия и, как и все остальные, вела разную общественную работу в Метропроекте. Я осталась руководителем группы, занимавшейся проектированием станции «Павелецкая-радиальная» со всеми примыкающими к ней сооружениями.

Металлические конструкции станции «Павелецкая-радиальная» изготовлялись в Днепропетровске. Мне приходилось и раньше ездить туда в командировки, но в 1941 году в начале июня такая моя поездка приобрела особое значение. Конструкции были срочно нужны, а их изготов-

ление завод задерживал.

На заводе оказалась сложная обстановка потому, что одновременно со мной туда прибыл еще один командированный, требовавший срочного изготовления конструкций для мостов где-то на Севере. Убеждая меня уступить ему право первенства, он говорил: «Если не будут срочно построены мосты, у нас заключенные в лагерях останутся без питания». Какой болью в сердце отозвались для меня эти слова! Я ведь тогда не знала, где находится Бабель, быть может, в этих самых лагерях. Молодой человек, заботившийся о заключенных, стал мне сразу симпатичен, и мы мирно договорились с заводом — кому и в какие сроки будут изготовлены конструкции, чередуя эти сроки между собой. Он уступал мне, я ему. В Москву я возвратилась 14 июня, а 20-го выехала в командировку в Абхазию, где началось строительство железной дороги от Сочи до Сухуми с восемью тоннелями на ее пути. К тому времени в Новом Афоне уже имелась проектная группа Метропроекта, но ее требовалось усилить. Сначала я отказывалась ехать из-за того, что надо снимать дачу и вывозить дочку с мамой за город. Начальство, заинтересованное в моей поездке, посоветовало взять девочку и маму с собой, и я

согласилась. Задание заключалось в привязке порталов тоннелей к местности, решении на месте вопросов борьбы с оползнями, отвода воды и других. Предполагалось, что с этой работой проектная группа справится за один-полтора месяца.

С собой мы взяли только летние вещи. Когда поезд подходил к станции Лазаревская, мы узнали, что началась война. Прямо на платформе состоялся митинг. Возвращаясь с митинга в вагон, четырехлетняя Лида весело сказала: «Ну вот война кончилась». Многие пассажиры, доехав до Сочи, возвратились в Москву. Мы же на автобусе поехали в Новый Афон. Приехали ночью в кромешной тьме; огней зажигать было нельзя; немцы бомбили наши города.

Проектная группа занимала для работы один большой номер в гостинице. В этой же гостинице жили все наши сотрудники.

Управление строительством тоннелей находилось в Гудаутах, управление строительством железной дороги — в Сухуми.

Вместе с нами в Новом Афоне была размещена транспортная контора нашего строительства с автобазой.

Очень скоро после нашего приезда Новый Афон

опустел. Старые курортники разъехались, новые не прибывали. Санатории закрылись, на пляжах никого.

Мы с утра работали, часто выезжали на строительство тоннелей для осуществления авторского надзора и иногда в Гудауты или Сухуми на различные совещания. Я поначалу занималась тоннелями 11 и 12 на Мюссерском перевале между Гаграми и Гудаутами, иногда приходилось ночевать в Гаграх в пустой гостинице «Гагрипш». Пробирались в номер со свечкой в полнейшей темноте. Заснуть было невозможно, мешали воспоминания о моем приезде в Гагры с Бабелем в 1933 году. Трудно представить себе Гагры с роскошной растительностью в цвету совершенно безлюдными. В Новом Афоне, кроме местного населения, были только строители тоннелей 13 и 14, сотрудники нашей проектной группы и транспортной конторы, шныряли туда и обратно полуторки, изредка появлялись легковые машины начальства.

Проектной работы оказалось гораздо больше, чем первоначально предполагалось, так как из-за плохих карт местности ни один из порталов тоннелей, запроектированных в Москве, в натуре не попадал в нужное место. Все чертежи порталов

тоннелей пришлось проектировать заново.

Тоннели 15 и 16 в Эшерах частично попали в оползневую зону. Припортальные участки этих тоннелей значительно усложнились и потребовали коренного изменения.

Тоннель 14 в Новом Афоне одним концом выходил на территорию дачи Сталина, которой раньше не было. Пришлось изменить его трассу, отказаться от выемки, ввести галереи и траншеи как продолжение самого тоннеля, чтобы как можно меньше нарушить территорию участка, засаженного молодыми лимонными деревьями.

Когда выяснилось, что месячная командировка в Новый Афон переходит в необходимость работать там длительное время и в то же время наша проектная организация из Москвы эвакуируется в Куйбышев, мы получили распоряжение главного инженера Метростроя Абрама Григорьевича Танкилевича оставаться на месте. Но ни у кого из нас не было теплых вещей, и Метропроект организовал для нас посылку из Москвы. Так как у меня в Москве не оставалось родственников, я переслала ключи от квартиры приятельнице Валентине Ароновне Мильман с просьбой собрать наши теплые вещи и передать их в Метропроект. Так же поступили и другие сотрудники нашей

группы.

Валентина Ароновна, работавшая тогда секретарем Эренбурга, получив ключи от нашей квартиры, догадалась забрать большой ковер на полу в нашей комнате и отвезти его Эренбургу, чтобы утеплить пол комнаты, где он работал. Ему же она отвезла кофеварку, привезенную Бабелем в 1935 году из Парижа.

Мне было приятно, что ковер и кофеварка послужили Эренбургу, а кроме того, эти вещи, в отличие от украденных соседями, вернулись в дом после нашего приезда.

Первый год войны мы прожили на Кавказе почти спокойно. Но война затягивалась, и некоторые сотрудники нашей группы начали нервничать, стремиться уехать в Москву. Немцы к тому времени перерезали железную дорогу, соединяющую Сочи с Москвой. Уезжать нашим сотрудникам пришлось через Красноводск. Добирались до Москвы за 40 дней. Уехал и руководитель нашей группы Б. В. Грейц с женой. Я осталась во главе проектной группы. Мне с мамой и маленькой Лидой опасно было трогаться в такой далекий путь.

Когда строительство тоннелей прекратилось из-за отсутствия цемента, который мы получали

из Новороссийска, был дан приказ законсервировать тоннели. На это требовался лес. Пришлось организовать лесоразработки вблизи от Пицунды.

Немцы подходили к Туапсе. Мы начали срочно строить железную дорогу в обход тоннелей. А пока вооружение из Ирана к Туапсе шло по извилистой шоссейной дороге, разбитой до предела. Во время дождей дорога портилась, колонны машин останавливались.

Немцы начали бомбить Тбилиси и Сухуми. Бомбы сбрасывали не особенно тяжелые, но и они приводили к жертвам. Одна бомба упала вблизи от здания управления строительством железной дороги; известка с потолка посыпалась на голову начальнику управления А. К. Цатурову. Женщине-инженеру Ростомян, выбежавшей в сквер возле здания, оторвало кисть руки. Были убитые и среди населения Сухуми на других улицах. Управление строительством железной дороги переехало из Сухуми в Новый Афон. Самолеты немцев начали летать и над Новым Афоном. По тревоге мы прятались в канавах, прорытых еще монахами для отвода воды со склона маслиновой рощи. Наши зенитки стреляли по самолетам, и пустые гильзы падали на нас.

Возможно, немцы узнали, что части морской пехоты расположились на отдых в пустых санаториях Нового Афона, а может быть, закрытые от морозов белыми колпаками молодые лимонные деревья принимали за палатки воинских частей. Во всяком случае, оставаться в гостинице мы побоялись и сняли для работы комнату в частном доме в поселке Псырцха и сами переехали в дома этого поселка.

Связь с Москвой прервалась, и мы перестали получать зарплату из Метропроекта. Пришлось работать по договорам с заказчиком или с другими организациями Абхазии. Нашей группе были заказаны проекты бомбоубежищ: маленького во дворе обкома и большого в городе.

Обстановка становилась все тревожнее. Немцы подошли к Туапсе на расстояние в 8 километров, но, кроме того, нависли над нами в горах. Войска наши отступали. Иногда на полу моей комнаты ночевало по нескольку солдат.

Однажды утром мой хозяин Арут Моргосович Янукян показал мне на дом абхазца, напротив нашего дома. Деревянная пятиконечная звезда, украшавшая фронтон дома, была за ночь снята, остался только след нового дерева под ней. Арут сказал:

— Ждет немцев… ничего не бойся, я уведу всех в лес, в горы. Знаю такие места, что ни один немец туда не доберется. Там и отсидимся, пока наши снова не придут.

И все-таки я однажды пошла к начальнику управления Александру Тиграновичу Цатурову посоветоваться: как быть?

Кроме мамы и Лиды, на моей ответственности были еще оставшиеся в Новом Афоне сотрудники группы, тоже с семьями.

Цатуров мне тогда сказал, показывая на свой стол:

— У меня под сукном лежит приказ за подписью Кагановича — в случае опасности эвакуироваться в Иран. Ведь транспорт в нашем распоряжении.

Скоро немцев в горах разгромили отряды добровольцев из местного населения под командованием военных. А когда наши строители закончили железную дорогу в обход тоннелей и первые поезда с военным снаряжением пошли по ней, немцев отогнали от Туапсе.

Радость военных по поводу постройки этой железной дороги была велика. Митинг закончился объятиями и поцелуями, подбрасыванием строителей в воздух.

Дорога, конечно, была аховая. Овраги пересека-

лись на шпальных клетках, оползневые участки требовали ежедневной и бесконечной подсыпки под шпалы гравия, который тут же сползал в море. Этот сизифов труд выполняли рабочие бригады из штрафников, которых не посылали на фронт: не доверяли им.

Обстановка в Новом Афоне и настроение людей улучшились, военные сводки стали обнадеживающими. Живя у Арута, я часто думала, что если Бабеля освободят и не разрешат ему жить в Москве, то будет очень хорошо поселиться ему здесь, в этом саду с виноградной беседкой и с роскошным видом на море.

Наступил 1944 год. Пора было возвращаться в Москву. Лиде исполнилось 7 лет, нужно было подумать о ее образовании. В Новом Афоне Лида вела жизнь вполне деревенской девочки. По утрам с кукурузника (высокая башня с лесенкой) доставала кукурузные початки, ручной мельницей молола в крупу зерна кукурузы, кормила кур и цыплят. Цыплята настолько к ней привыкли, что смирно сидели у нее на голове, плечах и руках, и она в таком виде расхаживала с ними по двору. По вечерам пастух кричал не хозяйке Оле, а Лиде: «Лида, забирай свою корову!» Лида хватала веревку с гвоздя, бежала за ворота, наматывала

веревку на рога коровы и вела ее по тропинке через сад в хлев. Лида чувствовала себя так же, как любой армянский или абхазский мальчишка. Ныряла и плавала великолепно. Уплывала в море так далеко, что ее совершенно не было видно, и пропадала там часами. Это стоило бы мне много нервов, если бы я всегда была свидетелем этих заплывов. Чаще всего я об этом узнавала потом.

В Москву мы возвратились в феврале 1944 года. Ехали через Сталинград, и пока поезд там стоял, мы с Лидой вышли на площадь. Зрелище полностью разбитого города было ужасающим. В некоторых местах высились только отдельные стены бывших кирпичных домов с проемами окон, все вокруг — сплошной битый кирпич. На вокзальной площади круглая раковина фонтана с полууцелевшими скульптурами детей вокруг. И по всей дороге в Москву видны были следы страшного разрушения. А так как мы в Новом Афоне почти не испытали ужасов войны, эти картины по дороге в Москву явились для меня единственным впечатлением от войны и до сих пор стоят перед глазами. Отдельные разрушения в Москве были уже подчищены и не особенно заметны.

Несмотря на то что моя квартира была заброни-

рована ГКО, она была разорена. «Нижние» соседи, военком и заместитель начальника отделения милиции нашего района распространили слух, что я, как жена репрессированного, перешла к немцам и в Москву не вернусь. Поэтому в домоуправлении одну из комнат отдали печнику, а в другой селились домоуправы. Их было несколько, сменявших друг друга за время войны, и каждый считал нужным поселиться в одной из моих комнат. Все вещи были разворованы.

Еще в конце 1943 года в Москву с фронта приехал дальний родственник Бабеля Михаил Львович Порецкий. Он зашел в наше домоуправление, объяснил им, что я в командировке и скоро возвращаюсь, добился освобождения одной комнаты. Когда очередной домоуправ выехал из комнаты, Порецкий повесил замок и ключ передал начальнику конструкторского отдела Метропроекта Роберту Августовичу Шейнфайну, встречавшему нас на вокзале. Но в комнате нельзя было оставаться ночевать из-за холода. Маму с Лидой пришлось пристроить к соседям из второй половины дома, а самой уйти ночевать к приятельнице.

У тетки Бабеля в Овчинниковском переулке М. Л. Порецкий оставил для меня немецкую же-

лезную печку, и когда я на саночках привезла эту печку домой и мы ее чем-то затопили, в комнате стало возможно жить. Кроме мебели, из вещей наших ничего не сохранилось. Не было никакой посуды, ничего из постельного белья — ни одеял, ни подушек. В шкафу, к великому моему счастью, валялись фотографии, и из них часть фотографий Бабеля.

Но самое главное — в доме не осталось ни одной книги.

Полностью теперь уж разоренный наш дом для своего хотя бы самого необходимого восстановления требовал много денег. Я снова начала работать в Метропроекте, получив для проектирования станцию «Киевская» со всеми относящимися к ней сооружениями и примыкающими перегонами кольцевой линии.

По вечерам я старалась заработать дополнительно, берясь за любую проектную работу. Такой работы сразу после войны предлагалось много, был период восстановления разрушенного.

Прежде всего у одной дамы мне удалось купить неплохую библиотеку, где были однотомники основных классиков русской литературы. Если в букинистических магазинах мне попадались те книги, которые были у нас с Бабелем, то я их

всегда покупала.

Чтобы получить вторую мою комнату, пришлось судиться. Все права были на моей стороне. Квартира была забронирована постановлением ГКО, квартирную плату аккуратно вносил Метропроект. Печник Челноков, занявший мою комнату, также аккуратно платил за свою комнату, из которой домоуправление сделало красный уголок. Тем не менее народный суд мне в иске отказал. Судья Матросов сказал так: «У меня рука не поднимется отдать вторую комнату такой маленькой семье, когда у нас генералы валяются в коридорах». И был он мне невероятно симпатичен за эти слова. Но в то же время я не могла согласиться с тем, чтобы жить втроем в одной комнате. Конечно, городской суд отменил первое решение народного суда и вторую комнату мне возвратили. Челноков благополучно вернулся в свою старую комнату, и мы с ним остались друзьями.

Летом 1944 года я с великим страхом подала обычное заявление в НКВД с просьбой сообщить мне о судьбе Бабеля. Со страхом вот почему. От знакомых я узнала, что обычный ответ на такие заявления гласил: «умер в 1941 г.», «умер в 1942 г.»… Какова была моя радость, когда я полу-

чила ответ: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было и в 1945 и 1946 годах. А на запрос в 1947 году мне сообщили: «Жив, здоров, содержится в лагерях. Будет освобожден в 1948 году». Нашей радости не было границ. Мы с мамой решили, что Бабеля освободят раньше, чем истечет срок приговора.

Решили за этот год отремонтировать квартиру, перебить мягкую мебель и летом 1947 года занимались всем этим, готовясь встретить Бабеля. А летом 1948 года мне снова ответили кратко: «Жив, здоров, содержится в лагерях», и я решила, что начался еще больший произвол и что, наверно, срок еще увеличили. Повсюду тогда ходили слухи об увеличении сроков и всяком произволе в лагерях. После 1948 года я заявлений в НКВД не подавала. Так наступил 1952 год, а Бабеля все не было. Однажды в августе 1952 года мама позвонила мне на работу и сказала, чтобы я немедленно пришла домой. Я схватила такси, надеясь застать Бабеля дома. Но оказалось, к нам приходил человек (совершенный зэк, как его описывал впоследствии Солженицын) и рассказал, что вышел из лагеря, расположенного на Колыме, что арестован он был во время войны за сотрудничество с немцами, осужден на 8 лет,

отбыл этот срок. Рассказал, что сам он из Бреста и фамилия его Завадский. После какого-то очередного перемещения из одного лагеря в другой он, по его словам, оказался вместе с Бабелем. Письмо от Бабеля он не привез, так как Бабель, когда он уходил из лагеря, был якобы в больнице. Завадский в сапоге привез письмо одной женщине от мужа, которой тот пишет и о Бабеле. Он назвал маме имя этой женщины — Мария Абрамовна — и написал ее телефон. Подождать меня Завадский не мог, спешил на вокзал. Вид его, как рассказала мне мама, был изможденный, цвет лица серый, в сапогах и в плаще каком-то старом. Я в тот же день позвонила Марии Абрамовне, и она пригласила меня зайти. Шла я к ней с опаской, боялась, что за мной следят. Так мне казалось, и, может быть, поэтому совершенно сейчас не помню, где она жила. Кажется, в одном из переулков между Арбатом и улицей Герцена. Помню, что дом старинный, с высокими массивными дверями и высокими потолками. Дверь отворила женщина с очень красивым лицом. Черные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор, с тяжелым узлом сзади. Классически правильные черты лица. Высокая, немного полноватая женщина. Она рассказала, что ее муж (смутно помню, что назвала

она его Гришей, а фамилии не помню) был послом или посланником нашим в Америке. Она и две маленькие дочери находились с ним. Вдруг, году, наверное, в 1937 или 38-м, его отозвали в Москву и поселили в роскошной квартире-номере в «Метрополе». Так всегда бывало с работниками посольства: пока им не предоставят квартиру, они живут в номерах «Метрополя». Туда-то и пришли ночью за мужем через несколько дней после возвращения из Америки. Ее арестовали тоже, но в одно ли время с мужем или позднее — не помню. Девочек сначала куда-то увезли, в какой-то детдом, а потом отдали ее родителям. Ей каким-то образом удалось освободиться через год или два. Такое у меня сложилось впечатление. Было удивительно, как ей удалось освободиться, но тогда у меня никакие подозрения не шевельнулись.

Мария Абрамовна рассказала мне, как пришел Завадский — очень боялся, снял сапог и вытащил письмо. Потом она достала это письмо, став на стул, из подвешенного высоко в углу комнаты шкафчика и прочла его мне. Я спросила ее — узнает ли она почерк мужа; она сказала: «И да, и нет. Как будто его почерк, но написано письмо дрожащей рукой». Я запомнила из этого письма: «Как

будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой», — это дословно, и далее, что он работает счетоводом, сидит в конторке, у них тепло, много пишет. О том, что он в больнице, — как ни о чем особенном, выйдет непременно. Поражало слово «оказия» — это бабелевское слово, в письмах он часто его употреблял. Я расплакалась, и Мария Абрамовна тоже. Так мы поплакали вместе, а сделать все равно ничего не могли.

Больше ни я ей, ни она мне не звонила. Все это случилось в августе 1952 года. Я была уверена, что Бабель жив и находится в лагере на Колыме. Непонятно было только, как человек такого обаяния, как Бабель, не мог из лагеря послать о себе весть. Но объясняла я это, во-первых, строгостью режима лагерей и, во-вторых, нашим отсутствием в Москве в течение почти трех лет.

На всякий случай мы решили послать запрос в Магаданскую область. Кто-то из знакомых узнал адрес, по которому следовало писать. И вот Лида Бабель написала в почтовый ящик № АВ 261, в ведении которого были все лагеря Магадана и Магаданской области, просьбу сообщить, — не у них ли содержится И. Э. Бабель.

В ответ получили уведомление: «На Ваше

заявление сообщаем, что Бабель Исаак Эммануилович 1894 по адресу город Магадан, Магаданской области. п/я 261 не значится».

Однажды мне сказали, что писатель К. рассказывал писателю Евгению Рыссу о том. как умер Бабель где-то в лагере под городом Канском Красноярской области. Я попыталась разыскать Евгения Рысса, но он жил в Ленинграде, и мне это не удалось. А в году 1955-м, уже после реабилитации Бабеля, мне вдруг позвонил сам К. и спросил, не хотела ли бы я узнать подробности смерти Бабеля, и предложил с ним встретиться. Эта встреча произошла на Тверском бульваре напротив дома Герцена. И К. мне рассказал, что его отец был начальником лагеря под Канском. Там была пошивочная мастерская, где работали заключенные. Бабелю сшили там плащ из брезента темно-зеленого цвета, и он в нем ходил. Этот плащ, говорил К., и сейчас хранится у его матери, живущей где-то в Сибири, и если я хочу, он может этот плащ мне привезти. У Бабеля в этом лагере была своя маленькая комнатка; работать его не заставляли, он много писал.

— А я присылал ему бумагу, — рассказывал К. — Сам я тогда работал в газете во Владивостоке. Отец мой очень хорошо относился к Бабелю.

Он написал мне, что ему нужна бумага. Вот я и присылал бумагу. Однажды Бабель пошел гулять во двор лагеря в этом своем плаще и долго не возвращался. Все обеспокоились и вышли его искать. Во дворе стояло одинокое дерево, а возле него скамья. Бабеля нашли сидящим на этой скамье, прислонившимся к дереву. Он был мертв.

Итак, лагерь под городом Канском и пошивочная мастерская. Я не настояла на том, чтобы плащ мне привез К., не потому, что я тогда сразу же не поверила ему, а потому, что мне страшно было иметь его в доме и хранить.

Наверное, через год или два после свидания с К. я на майские праздники поехала с приятельницей отдохнуть в Дом композиторов под Рузу. Гуляя, мы зашли в Дом творчества писателей и там встретили Евгения Рысса. Когда нас познакомили, я спросила его, рассказывал ли ему К. о смерти Бабеля, и попросила его повторить мне этот рассказ.

К. рассказал Рыссу, что его отец был начальником тюрьмы в городе Канске, где содержался Бабель. Квартира начальника тюрьмы находилась рядом с камерой Бабеля и имела общий с ней балкон. И Бабель по этому балкону часто переходил к родителям, и мать кормила его пиро-

гами. Именно у них в доме на черном клеенчатом диване Бабель однажды умер от разрыва сердца. Тоже говорилось, что Бабель много писал, что К. присылал ему бумагу. Добавлено было, что все написанное Бабелем, после его смерти, забрал в Москву какой-то сотрудник Центрального НКВД.

Примерно за год до ареста Бабеля в нашем доме появился Я. Е. Эльсберг. Когда я застала этого нового знакомого Бабеля, возвратясь с работы, я ничуть не удивилась. Так бывало и прежде, тем более что Эльсберг работал у Каменева в издательстве «Academia». Эльсберг меня удивлял и даже смешил своей готовностью на всякие услуги. Стоило мне сказать при нем, что нужно в квартире сделать какой-то ремонт, как моментально он приводил маляров. Стоило заикнуться, что неисправен какой-нибудь штепсель, как на другой же день приходил электромонтер, и т. д. А однажды Бабель сказал мне, что на премьеру оперы «Иван Сусанин» в Большой театр меня будет сопровождать Эльсберг. Билеты были в ложу, и я с удивлением обнаружила, что Эльсберг оперу почтй не слушал. Не дожидаясь окончания первого акта, он куда-то исчез, а через некоторое время возвратился с пакетом апельсинов, чтобы меня угощать. В течение второго акта Эльсберг

уходил, как оказалось, заказывать машину для отъезда, а не дожидаясь конца третьего акта, ушел из ложи и принес наши пальто.

После окончания премьеры нас ждала шикарная машина черного цвета, на которой Эльсберг отвез меня домой.

Дома я со смехом рассказала Бабелю, как ухаживал за мной Эльсберг в театре, и Бабель очень смеялся.

Я знаю, что Бабеля предупреждали о том, что Эльсберг к нему приставлен, но не знаю, как он к этому относился. Знаю только, что Эльсберг продолжал к нам приходить до самого ареста Бабеля, а после наносил визиты мне регулярно один раз в месяц. Придет, одетый как жених, принесет Лиде детские книжки, выпьет стакан чаю и уйдет. Он не вел со мной никаких провокационных разговоров, не задавал мне никаких вопросов. Эти визиты Эльсберга я называла «визитами вежливости». Каждый раз после его ухода мне хотелось недоуменно пожать плечами.

К концу 1939 года визиты Эльсберга прекратились.

Когда началась реабилитация репрессированных людей, выяснилась роль Эльсберга и был поднят вопрос о привлечении его к ответствен-

ности. Чтобы проверить причастность Эльсберга к арестам писателей, создали комиссию, которой разрешили просмотреть дела арестованных. Конечно, с членов этой комиссии была взята подписка о неразглашении увиденного в делах. Тем не менее кое-какие сведения просочились.

Эльсберга тогда исключили из членов Союза писателей и хотели привлечь к уголовной ответственности, хотя этого не допустили. Однажды, какое-то время спустя после разоблачения Эльсберга, я встретила его в Институте мировой литературы, случайно с ним столкнулась. У него был такой жалкий вид, что я ответила ему на поклон, но не остановилась. Жалкая у него судьба и страшная была жизнь!

О возможности реабилитации заключенных я узнала одной из первых.

Главного инженера Мосметростроя Абрама Григорьевича Танкилевича судили по какому-то выдуманному делу вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Его не взяли, находился только под домашним арестом и должен был являться на заседания народного суда.

Суд длился долго, так как обвиняемых было много. И вот однажды во время перерыва в судеб-

ном заседании Танкилевич случайно подслушал разговор адвокатов между собой, из которого узнал, что создана комиссия под председательством Генерального прокурора СССР Руденко по реабилитации людей, осужденных в годы культа личности Сталина. Это было в январе 1954 года. Танкилевич сейчас же позвонил мне и рассказал о подслушанном разговоре адвокатов. Я ничего не знала о такой комиссии и понятия не имела, как нужно к ней обращаться, но сейчас же написала заявление такого содержания:

«Мой муж, писатель И. Э. Бабель, был арестован 15 мая 1939 года и осужден на 10 лет без права переписки.

По справкам, получаемым мною ежегодно в справочном бюро МВД СССР, он жив и содержится в лагерях.

Учитывая талантливость И. Э. Бабеля как писателя, а также то обстоятельство, что с момента ареста прошло уже 15 лет, прошу Вас пересмотреть дело И. Э. Бабеля для возможности облегчения его дальнейшей участи.

А. Пирожкова. 25.1.54 г.»

В последующем в заявлениях, адресованных Руденко, прямо просили о реабилитации. Мне же

тогда это слово было незнакомо.

К нашему удивлению, через 10 дней пришел ответ от Генерального прокурора, в котором сообщалось:

«Ваша жалоба от 5 февраля 1954 г., адресованная Генеральному прокурору СССР по делу Бабеля И. Э., поступила в Главную военную прокуратуру и проверяется.

О результатах Вам будет сообщено».

А через две недели, то есть 19 февраля 1954 г. — снова письмо из Прокуратуры СССР:

«Сообщаю, что Ваша жалоба Прокуратурой СССР проверяется. Результаты проверки будут сообщены дополнительно».

Первое письмо было подписано военным прокурором Главной военной прокуратуры, а второе — прокурором отдела по спецделам.

Но прошло еще несколько месяцев, когда уже летом, быть может, в июне, мне позвонил незнакомый человек, назвался следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот.

Это был довольно симпатичный, средних лет

человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал мне вопросы сначала обо мне, где работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в Метрогиптрансе, он сказал:

— Это удивительно при ваших биографических данных.

Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Андре Мальро и с Ежовыми. Я спросила Долженко:

— Вы дело Бабеля видели?

Он ответил:

— Вот оно, передо мной.

— И какое у вас впечатление?

— Дело шито белыми нитками…

И тут я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, и я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан воды.

Но скоро я пришла в себя.

Тогда он спросил меня, кто мог бы дать хороший отзыв о Бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Эренбурга и Катаева.

Подумать только — «дело шито белыми нитками», а нужны отзывы трех человек, чтобы реабилитировать невиновного!

Потом Долженко мне сказал, что так как сейчас лето и люди, с которыми он хочет поговорить, могут быть в отъезде или на даче, он не обещает мне скоро закончить дело.

Я спросила о судьбе Бабеля, и Долженко сказал, что он занимается только реабилитацией, а на этот вопрос мне ответят в другом месте, когда он закончит рассмотрение дела.

От Долженко я пошла сразу же к Екатерине Павловне Пешковой, которая жила на улице Чаплыгина, то есть очень близко от Кировских ворот, где я была. Никогда прежде я не приходила к ней без звонка, и Екатерина Павловна очень удивилась моему приходу. Но вид у меня был такой, что она сразу же меня обняла, привела в столовую и, посадив на диван, села рядом. Я не сразу могла говорить. Потом я рассказала ей о моем разговоре с Долженко и предупредила о возможном его визите. В тот же день вечером я позвонила Эренбургу и узнала: он на даче, а машина туда пойдет через день утром. Когда я приехала на дачу, оказалось, что Долженко уже у них был. Любовь Михайловна рассказала, как заставила его гулять в саду более двух часов (Эренбург был занят).

— Если бы знала, что дело касается Бабеля, пу-

стила бы его к Илье Григорьевичу немедленно.

Эренбург мне рассказал о разговоре с Долженко, которому он сказал, что с Андре Мальро Бабеля познакомил в Париже сам, а знакомство с Ежовым объяснил профессиональным любопытством писателя к людям всякого ранга, в той же мере к Ежову, как, например, к наездникам ипподрома.

Я спросила Эренбурга, какое у него впечатление о судьбе Бабеля. Он ответил:

— О деле — хорошее, о судьбе — плохое.

И я расплакалась, как ни старалась сдержаться. Эренбург тотчас же стал уверять меня, что Долженко ему ничего определенного не сказал, просто у него такое впечатление. Схватил меня за руку и потащил показывать свой цветник, где были цветы необыкновенные, нам незнакомые, семена которых он привозил из-за границы.

Предупреждать Катаева о визите следователя я не стала, но знаю, что разговор между ними состоялся.

С Екатериной Павловной Долженко встретился на другой же день после моего к нему визита. Она рассказала ему, как Горький и она любили Бабеля, считали его умнейшим человеком и талантливым писателем.

Долженко повторил ей свое удивление по поводу моего «высокого служебного положения» при таких неблагоприятных биографических данных.

Уже зимой, в декабре, мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено и что я могу получить справку о реабилитации в военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского.

Там мне выдали справку такого содержания:

«Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 18 декабря 1954 года.

Приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля. И человек, который выдал мне справку, взял ручку и на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу свидетельство о смерти.

Я вышла от него почти спокойной. Я не верила

этому! Если бы было написано: «Умер в 1952, в 1953 г. и т. д.», я бы поверила, но в августе 1952 года приходил из заключения Завадский, привез письмо, в котором было написано: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой». Я верила в то, что до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский. Я решила, что арестованных была такая масса, что в НКВД не могут теперь разобраться, кто где находится, и кинулась хлопотать о поисках Бабеля.

Я написала письмо председателю военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была выдана мне справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову. Я писала:

«23 декабря 1954 года мне вручили в приемной Верховного суда Союза ССР за № 4н-011441/ 54 о прекращении производством за отсутствием состава преступления дела моего мужа писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Одновременно мне сообщили, что 17 марта 1941 года муж мой — Бабель И. Э. умер от паралича сердца.

Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявления в справочном бюро МГБ — Кузнецкий мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря с.г. сообщения о смерти Бабеля И. Э. в 1941 году.

Кроме того, летом 1952 года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров.

Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным.

Прошу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним».

Не получив ответа на мои заявления, я написала письмо писателю Фадееву:

«Уважаемый Александр Александрович!

Обращаюсь к Вам по совету Ильи Григорьевича

Эренбурга, от которого Вы, вероятно, уже знаете о полной реабилитации моего мужа И. Э. Бабеля.

Одновременно со справкой о реабилитации я получила устное сообщение о смерти Бабеля в 1941 году. Это сообщение является ошибочным, так как я достоверно знаю, что Бабель был жив еще летом 1952 года. В августе 1952 года меня нашел в Москве освобожденный из лагеря Средней Колымы человек, который три года (с 1950 по 1952) находился вместе с И. Э. Бабелем, и сообщил мне о нем факты, не вызывающие никакого сомнения в их достоверности.

Поэтому я чрезвычайно встревожена создавшимся положением, в силу которого военная коллегия Верховного суда, оправдавшая Бабеля, не разыскивает его, считая погибшим.

Я подала заявление с опровержением факта смерти Бабеля в 1941 году в МГБ, но боюсь, что проверка моего заявления будет затяжной и формальной. Поэтому было бы необходимо добиться распоряжения об индивидуальном и срочном розыске Бабеля от кого-нибудь из членов правительства, например от Ворошилова, который, безусловно, знает и помнит Бабеля.

Мне самой трудно было бы добиться приема у Ворошилова, и поэтому я хочу узнать у Вас, могли

бы Вы или Союз советских писателей помочь мне в этом.

Прошу Вас сообщить мне о возможности Вашего участия в судьбе Бабеля».

После получения моего письма Фадеев однажды позвонил мне домой; меня дома не было, и он сказал Лиде, что хотел бы поговорить со мной, но сейчас он уезжает в санаторий в Барвиху, а когда вернется оттуда, позвонит мне.

Но звонка Фадеева я не дождалась и написала письмо Ворошилову.

Через какое-то время мне позвонили из приемной Ворошилова:

— Климент Ефремович просит передать вам, чтобы вы поверили в смерть Бабеля. Если бы он был жив, он давно был бы дома.

И только после этого, все еще сомневаясь, я пошла в районное отделение загса за свидетельством о смерти Бабеля. Более страшный документ трудно себе представить! «Место смерти — Z, причина смерти — Z».

Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет.

Можно ли было поверить этой дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение

не могло быть отложено более чем на год.

Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 году Политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля было написано: «Девяностолетие со дня рождения И. Э. Бабеля (1894–1940)». Когда мы позвонили в Политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 1940, когда справка дает год 1941, нам спокойно ответили: «Мы получили этот год из официальных источников…»

Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня в заблуждение справками о том, что он «жив и содержится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а потом и заставил писателя К. распространять ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или в тюрьме?

И только когда в 1961 году в Советский Союз впервые приехала родная сестра Бабеля, жившая в Брюсселе, и спросила меня: «Как умер мой брат?», я поняла, как чудовищно, немыслимо сказать ей: «Он расстрелян». И я повторила ей одну из версий, придуманных К., о смерти в лагере на скамье возле дерева.

Верить в смерть Бабеля не хотелось, но мои хлопоты о розыске его с тех пор прекратились.

Теперь мы знаем, что Бабель испытал пытки на следствии и продержался, все отрицая, три дня. Мужественные люди могли вынести и пытки, и были такие примеры, но когда заключенному говорили, что сейчас приведут сюда вашу жену и маленького ребенка и будут их мучить на ваших глазах, то вряд ли кто мог это вынести. И чтобы этого избежать, соглашался подписать любые обвинения, а значит, и свой смертный приговор.

Бабель был обречен, как выдающаяся личность, как писатель, неспособный к сделке с правительством, и не нужны были его муки даже в течение трех дней.

Писать об этом для меня очень трудно. Горечь утраты не оставляет меня никогда, и мысль о том, что за восемь месяцев в НКВД он должен был испытать массу унижений и оскорблений, пытки, а свой последний день пережить как день перед смертью после приговора, разрывает мне сердце.

Умирают все, но в другом возрасте или от болезни, часто неожиданной. Бабелю не было и 46 лет, он был здоров, любил жизнь, любил свою работу и даже в НКВД просил следователя дать ему рукописи, чтобы их еще поправить, но и

этого ему не разрешили.

Я попыталась разыскать рукописи. Но на мое заявление в МГБ меня вызвали в какое-то подвальное помещение, и сотрудник органов в чине майора сказал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи.

Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи…

И тогда впервые, год спустя после реабилитации Бабеля, я обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила его хлопотать от имени Союза о розыске рукописей Бабеля.

Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серову было направлено письмо:

«В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель тов. Бабель Исаак Эммануилович.

В 1954 году И. Э. Бабель посмертно реабилитирован Верховным судом СССР.

При аресте у писателя были изъяты рукописи,

личный архив, переписка, фотографии и т. п., представляющие значительную литературную ценность.

Среди изъятых рукописей, в частности, находились в пяти папках: сборник «Новые рассказы», повесть «Коля Топуз», переводы рассказов Шолом-Алейхема, дневники и т. п.

Попытка вдовы писателя — Пирожковой А. Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной.

Прошу вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения материалов писателя И. Э. Бабеля.

Секретарь правления Союза писателей СССР (А. Сурков)».

На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ — того же содержания, что был дан и мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков и не производилось.

Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены и органам безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятыхбумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт о сожжении № такой-то». Так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата

Михаила Кольцова.

Однажды, уже году в 1970-м, ко мне пришла молоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила дать кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что рукописи арестованных писателей все же находятся, иногда поступают от частных лиц, а иногда из архивов КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля.

Я сказала:

— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни.

— И я тоже! — с жаром воскликнула она.

И было так трогательно слышать это от совсем молодой девушки из ЦГАЛИ.

Но надежды на то, что рукописи уцелели, теперь уж нет.

В 1987 году, надеясь на изменившуюся ситуацию в стране, я снова подала заявление с просьбой о поиске рукописей Бабеля в подвалах КГБ.

В ответ на мою просьбу ко мне домой пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены.

— Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу? — спросила я.

— Нет, мы пришли, чтобы выразить вам свое сочувствие, мы же понимаем, как драгоценны рукописи Бабеля.

Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля, то мне стали передавать и присылать кое-что из рукописных ранних произведений Бабеля, а также первые издания его книг.

Фотографические и машинописные копии публикаций из журналов и газет я получила из Ленинской и Исторической библиотек. Часть из них я нашла сама, большее же число их мне передали те молодые люди, которые сейчас же после реабилитации Бабеля начали работать над диссертациями по его произведениям. Первым таким молодым человеком был Израиль Абрамович Смирин, затем Сергей Николаевич Поварцов, Янина Салайчик из Польши и другие.

Военный дневник Бабеля 1920 года, наброски планов рассказов, записную книжку, автографы начатых рассказов «У бабушки», «Три часа дня», «Их было девять» мне из Киева переслала Татьяна Осиповна Стах, получив их у М. Я. Овруцкой, у которой Бабель останавливался иногда, бывая в Киеве.

Рукописи рассказов «Мой первый гонорар» и

«Колывушка» до сих пор находятся в Ленинграде, теперь у сына Ольги Ильиничны Бродской, которой Бабель их подарил.

Так мало-помалу образовался небольшой архив Бабеля, с которым все годы работало много людей из разных стран мира.

В комиссию по литературному наследию Бабеля входили: К. А. Федин, Л. М. Леонов, И. Г. Эренбург, Л. И. Славин, Г. Н. Мунблит, С. Г. Гехт и я.

С первых же дней после создания этой комиссии выяснилось, что ни Федин, ни Леонов участвовать в работе не хотят. Все письма с вопросами о Бабеле, приходившие к Федину как к председателю комиссии, он, не читая, переадресовывал мне.

Роль председателя выполнял Илья Григорьевич Эренбург. К нему я обращалась за советами, особенно тогда, когда возник вопрос об издании произведений Бабеля, не печатавшихся с 1936 года. Встречались мы довольно часто, пока велись переговоры по поводу однотомника «Избранное», для которого Эренбург написал предисловие.

Когда нас пригласили в издательство «Художественная литература» для встречи с редактором сборника, мы должны были собраться у заместителя главного редактора. Мы — это Эренбург,

Мунблит, Гехт, Славин и я. В ожидании, пока все соберутся, Эренбург, Мунблит и я сидели на диванчике перед лестницей на 2-й этаж издательства. Пришел Гехт и вслед за ним Славин. И Славин сообщил нам о самоубийстве Фадеева.

Я посмотрела на Эренбурга, он даже не взволновался, а потом говорит:

— У Фадеева было безвыходное положение, осаждали возвращающиеся заключенные и их жены. Они спрашивали: как могло случиться, что письма, которые я писал вам лично, оказались на столе у следователя при моем допросе? Действительно, как? Ведь Фадеев арестован не был, обыска и изъятий бумаг у него не было. Значит, передал сам? — продолжал Эренбург.

Меня поразило то спокойствие и даже равнодушие, с которым это известие было встречено членами нашей комиссии. Как будто никого это не удивило и уж вовсе не огорчило.

Когда настало назначенное нам время, мы поднялись наверх в кабинет заместителя главного редактора. Последний, рассадив нас, пригласил зайти в кабинет редактора книги Бабеля. Через некоторое время дверь отворилась и вошла женщина, высокая, полноватая, с высокой грудью и с хорошим русским лицом. Длинные серьги в ушах

побрякивали, рукава белой блузки были засучены. Я взглянула на Эренбурга. Он застыл с таким изумленным выражением лица, что мы, переглянувшись с Мунблитом, еле сдержались, чтобы не рассмеяться. Не над женщиной, конечно, а над Эренбургом. После того, как нас познакомили и мы поговорили о составе сборника, Эренбург уже на улице сказал:

— Если бы такая женщина внесла в комнату кипящий самовар, я бы ничуть не удивился, но… редактор Бабеля?

Позже Г. Н. Мунблит, составивший комментарии к этому изданию, мне говорил: «У меня становится горько во рту, когда я с ней разговариваю».

Мои же отношения с редактором сложились вполне нормально, и только однажды, когда она мне сказала: «Давайте выбросим из «Конармии» «Кладбище в Козине» — маленькая вещь, ничего не дает», — я чуть не сорвалась, но сдержалась и как-то уговорила ее оставить этот удивительный маленький шедевр. В этот сборник отказались взять рассказы «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва», «Иван-да-Марья» и «Колывушка», предлагаемые нами. Эренбург, злясь на это, говорил: «Будет время, напечатают все, а сейчас хорошо,

что выйдет хоть такой сборник».

Помогал мне советами Илья Григорьевич и при составлении другого сборника произведений Бабеля, вышедшего в 1966 году. В него удалось включить несколько рассказов, не вошедших в сборник 1957 года, но снова отклонили рассказы «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва» и «Колывушка». Удалось включить статьи Бабеля, его воспоминания и выступления, а также небольшое число писем.

Однажды мне позвонили из журнала «Кругозор» и просили дать что-нибудь из публикаций Бабеля. Эренбург посоветовал дать одну или две статьи из газеты «Заря Востока» 1922 года. Выбрали «Без родины» и «В доме отдыха». Тогда редакция журнала попросила меня уговорить Эренбурга написать маленькое предисловие. Илья Григорьевич мне говорит: «Хорошо, я напишу им, что с этих публикаций начался писатель Бабель, а как он получил свой первый гонорар, читатели журнала узнают из рассказа Бабеля «Мой первый гонорар». В это время этот рассказ никто не хотел публиковать.

Году в 1957-м мне позвонила Любовь Михайловна и сказала, что Илья Григорьевич хотел бы познакомиться с моей дочерью Лидой, и про-

сила к ним прийти. Лиде было тогда 20 лет, и она училась в архитектурном институте. Познакомившись с ней, Эренбург сказал: «По правде говоря, когда мне говорили, что Лида похожа на Бабеля, я ужасался. У Бабеля было хорошее лицо для известного писателя средних лет, но чтобы девушка была на него похожа… А тут — и похожа на Бабеля, и хорошенькая…» Эренбург усадил нас и сел напротив в большое кресло рядом с Любовью Михайловной и тут же, обращаясь к Лиде, стал ей рассказывать об ее отце, о встречах с ним в Париже. Иногда его перебивала Любовь Михайловна, и тогда Эренбург на нее сердился.

Если же Эренбург, вспомнив что-то, перебивал Любовь Михайловну, то сердилась она. И Лида, отличаясь бабелевской проницательностью, очень хорошо это подметила. А также после визита подробно мне описала, какой у Эренбурга был пиджак, какой галстук и какие носки с искоркой.

А когда Эренбург уже в 1961 году праздновал свое 70-летие, он захотел, чтобы я пришла с Лидой. «Хочу, чтобы среди моих гостей было хоть одно молодое лицо». С гордостью знакомил ее с гостями, среди которых были Каверин, Козловский, Сарра Лебедева, Слуцкий и много других.

В 1964 году отмечалось 70-летие Бабеля. Комис-

сия по литературному наследию, по инициативе Эренбурга, решила обратиться в ЦК к Д. А. Поликарпову с письмом такого содержания:

«Секретариат Союза писателей принял решение отметить 70-летие И. Э. Бабеля, и одним из пунктов этого решения является организация вечера памяти писателя в Доме литераторов. Зал дома может вместить только некоторую часть московских писателей. Между тем интерес читателей к творчеству Бабеля настолько велик, что, по нашему мнению, не следует ограничиваться этой аудиторией. Мы просим вас помочь нам получить разрешение на устройство — помимо вечера в Доме литераторов — открытого вечера в Политехническом музее, где будут читаться произведения Бабеля и где люди, знавшие Бабеля, расскажут о нем. Мы уверены, что в этом деле вы пойдете нам навстречу».

Илья Григорьевич предложил, чтобы письмо подписал также Федин, числившийся председателем комиссии по литературному наследию Бабеля. Для этого Эренбург отправил Федину письмо следующего содержания:

«Дорогой Константин Александрович, я посылаю Вам текст письма, с которым комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля решила об-

ратиться к Д. А. Поликарпову. Обращаюсь к Вам и как к председателю комиссии, и как к Константину Александровичу Федину с просьбой поставить впереди наших подписей Вашу. Я убежден, что Вы это сделаете.

Эренбург».

Федин письма не подписал и ответил, что не считает нужным устраивать вечер Бабеля в Политехническом музее. Ответ Федина привел Эренбурга в такой гнев, какого я за ним не знала.

А наше предположение, что зал Дома литераторов не вместит всех желающих, оправдалось. Улиц^ Герцена, где расположен этот дом, перед началом вечера была запружена народом. Мне пришлось сопровождать на вечер Екатерину Павловну Пешкову, и, несмотря на то, что приехали заранее, мы еле пробились к двери. Зал был набит битком, фойе заполнено тоже. Все двери из зала в фойе были открыты настежь, чтобы люди, не вошедшие в зал, могли что-то услышать. Позже Николай Робертович Эрдман говорил мне, что стоял весь вечер в фойе.

Первоначально предполагалось, что председателем на вечере памяти И. Э. Бабеля будет Эренбург. Но Союз писателей распорядился иначе — председателем был назначен Федин. Все члены

комиссии по литнаследию Бабеля были возмущены и расстроены.

Кроме того, было не ясно, как к этому отнесется Эренбург. А вдруг совсем не придет на вечер? Эренбург пришел, но сел не в президиум на сцену, а в первый ряд в зале. Отказалась сесть в президиум и я.

Вечер открыл своим выступлением Федин, потом выступили писатели Никулин, Бондарин, Славин, Лидин, Мунблит.

Эренбург выступал последним. Я привожу здесь отдельные фрагменты его речи из стенограммы:

«Я не мог не выступить, хотя здесь многие хорошо рассказали об Исааке Эммануиловиче и хотя я писал о нем. Это самый большой друг, которого я имел в жизни. Он был моложе меня на три с половиной года, но я шутя называл его «мудрый ребе», потому что он был мудрым человеком. Он не был умным человеком, он не был эрудированным человеком — он был мудрым человеком. Он удивительно глубоко смотрел в жизнь.

…Он был очень добрым и хорошим человеком не в том обывательском смысле, как говорят, а по-настоящему, и то, что говорили, что он не верил в удачу писателей душевнонебрежных, это очень выражает всю природу Исаака Эммануиловича.

Когда он раз дожидался меня, он перечел маленький рассказ Чехова у меня на квартире в Париже, и когда я пришел (я запоздал), он мне сказал: «Знаете, что удивительно? Чехов был очень добрым человеком». И он ругался с французами, которые смели критиковать то или другое в Мопассане, говорил, что Мопассан безупречен, но в одном из последних разговоров со мной он сказал: «Все у Мопассана хорошо, но сердца не хватает». Он вдруг почувствовал эту стихию страшного одиночества и отъединенности Мопассана.

…Бабель умел быть очень осторожным. Его никак нельзя назвать человеком, который лез напролом. Он знал, что он не должен ходить в дом Ежова, но ему было интересно понять разгадку нашей жизни и смерти. В одну из последних встреч… он, наклонившись ко мне, шепотом сказал: «Ежов только исполнитель». Это было после длительных посещений дома, бесед с женой Ежова, которую он знал давно. Это была единственная мудрая фраза, которую я вспоминаю из всего, что я слышал в то время. Бабель больше нас видел и разбирался в людях…

Он был сформирован революцией, и трагична была судьба человека, который сейчас перед нами (показывая на портрет). Он был одним

из самых преданных революции писателей, и он верил в прогресс. Он верил, что все пойдет к лучшему.

И вот его убили…

Если бы он жил, если бы он был бездарен, то уже десять раз его собрание сочинений бы переиздали. Не думайте, что я кричу впустую. Я хочу, чтобы наконец мы, писатели, вмешались в это дело. Чтобы мы заявили издательству, что нужно переиздать Бабеля, чтобы мы добились устройства вечеров… Я не знаю, что он писал дальше. Он говорил, правда, что он ищет простоты. Его простота была не той, которая требовалась, она была простотой после сложности. Но я хочу сказать одно: ведь это большой писатель. Я говорю это не потому, что я люблю его до сих пор. Если говорить языком литературоведов, объективно — это гордость советской литературы… Я хотел бы, чтобы все писатели помогли в осуществлении одного: чтобы Бабеля мог почитать наш народ. Мало бумаги — одну книжку издать? Это не будет собрание его сочинений, да еще длиннейшее. Должна найтись на это бумага…

Я тронут был речами всех знавших Исаака Эммануиловича и тем, как слушали, и, видимо, не только этот зал, но и его окрестности, коридоры

и на улице. Я рад за Исаака Эммануиловича.

Я рад, что здесь Антонина Николаевна и дочка Бабеля — Лида — услышали и увидели, как любят Бабеля».

Эренбургу много и горячо аплодировали во время речи и по окончании ее.

После выступлений артист Московского Художественного Театра Н. В. Пеньков великолепно прочитал рассказ Бабеля «Мой первый гусь», и затем Дмитрий Николаевич Журавлев, как всегда, блестяще выступил с двумя рассказами — «Начало» и «Ди Грассо».

На сцене стоял большой портрет улыбающегося Бабеля, отлично выполненный фотографом Дома литераторов.

Однако с тех пор ни 80-летие, ни 90-летие Бабеля Союз писателей не отмечал: слишком был напуган стечением такой массы народа!

ИЛЛЮСТРАЦИИ



И. Э. Бабель, 1920 г.



Одесса, 1900 г.



Эммануил Исаакович Бабель с сыном, 1902 г.

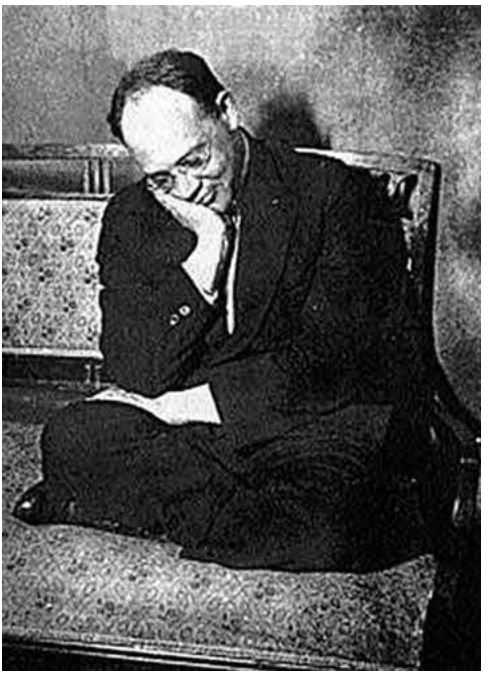


Ученик коммерческого училища

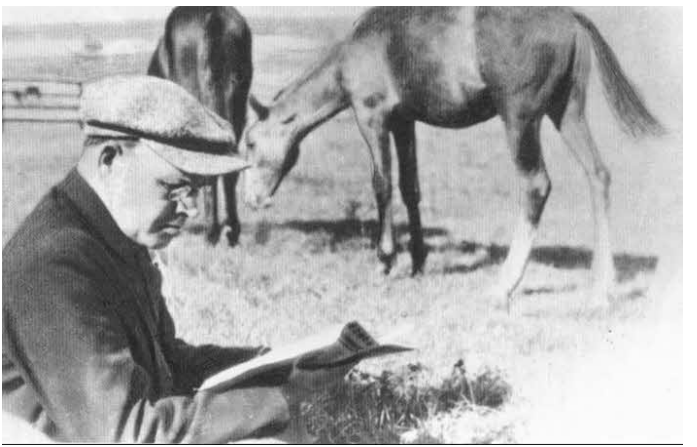


С учениками 7-го класса коммерческого училища

***(Бабель второй слева)*, 1914 г.**



И. Э. Бабель, 1928 г.



И. Э. Бабель с лошадьми, 1932 г.



И. Э. Бабель с сестрой, Марией Эммануиловной Шапошниковой. Бельгия, 1928 г.



В колхозе под Ростовом, 1929 г.



Бабель, 1927 г.



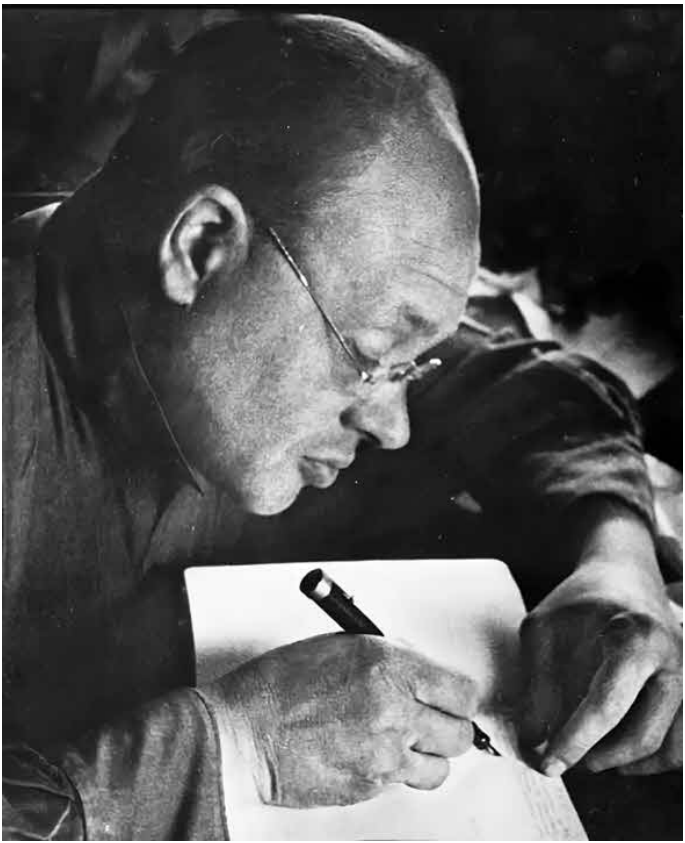
И. Э. Бабель с сыном Мишей, 1927 г.



С дочерью Наташей, 1932 г.



На праздновании юбилея журнала «Красная новь» в 1927 году. *Первый справа в верхнем ряду* — И. Э. Бабель



«Работать по методам искусства… — это одно из немногих утешений, оставшихся мне»



Шарж Бориса Ефимова



И. Э. Бабель, 1930 г.



А. Н. Пирожкова



Бабель с женой Антониной Николаевной Пирожковой, 1935 г.



Дом в Москве в Большом Николо-Воробинском переулке, где жил Бабель



С дочкой Лидой, 1938 г.



Лида, 1955 г.



Антонина Николаевна, 1990 г.



А. Н. Пирожкова с внуком Андреем и с сестрой Бабеля М. Э. Шапошниковой, 1970 г.


В. Маяковский
Исаак Бабель
1933

Рисунок художника В. Милашевского, 1933 г.



И. Э. Бабель на похоронах И. Ильфа, апрель 1937 г.



И. Э. Бабель и Ю. К. Олеша на I Съезде писателей, 1934 г.



И. Э. Бабель и С. М. Эйзенштейн на съемках фильма «Бежин луг», (по сценарию Бабеля), 1936 г.



Андре Мальро и Исаак Бабель. 1936 г.



А. М. Горький, Андре Мальро, И. Э. Бабель, М. Е. Кольцов. Тессели, Крым. 1936 г.



Дача в Переделкино, где был арестован И. Бабель

СССР

ный Комиссариат Внутренних Дел

ОРДЕР № 3003

Мая 16 дня 19[illegible] г.

Государственной Безопасности

на производство

ареста и обыска

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ордер на арест И. Бабеля



И. Бабель в день ареста 15 мая 1939 г.

ПРИГОВОР

[illegible]ем Союза Советских Социалистических Республик

[illegible]

[illegible]нной Коллегии Верховного Суда Союза ССР

в составе:

Председательствующего Армвоенюриста УЛЬРИХ

Членов Бригвоенюристов КАНДЕЛАКИ и ДМИТРИЕВА

При секретаре военном юристе 2 ранга КОВАЛЕВЕ

В закрытом судебном заседании, в гор. Москве

26 января 1940 года, рассмотрела дело по обвинению:

БАБЕЛЬ Исаака Эммануиловича, 1894 г. рождения, быв. член Союза [illegible]ветских писателей, - в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-1а, [illegible]-8 и 58-11 УК РСФСР.

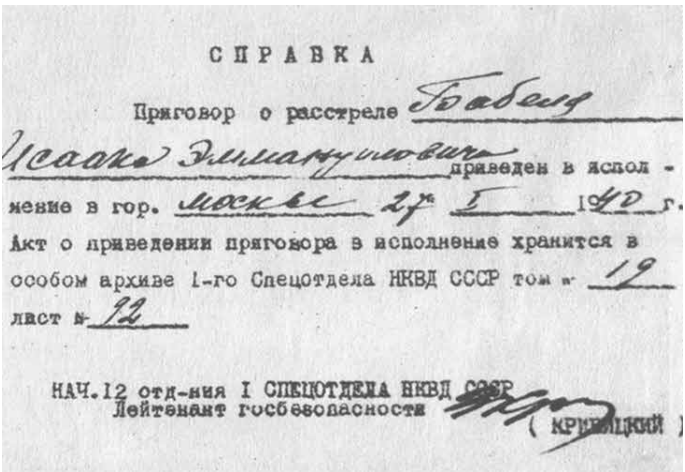
[illegible]дварительным и судебным следствием установлено, что Бабель в 1927-28 [illegible]шел в состав одесской троцкистской организа-[illegible]ии, существовавшей в гор. Киеве среди писателей и ра[illegible]ботников искусств, а с 1934 года Бабель являлся агентом [illegible]французской и австрийской разведок, по заданиям ко-[illegible]торых занимался шпионской деятельностью.

[illegible]Будучи организационно связанным по одесской ра[illegible]ботнице с целой группой врагов народа в Киеве Клюевой-[illegible]Гладун-Лакшиной, последняя Бабеля как военного [illegible]по заданию японского шпионско-террористического органи[illegible]зации, ведущей цели и задачи коих не одобряла, с [illegible]ними имела и террористические связи не организацион[illegible]но связанной руководящей ВКП(б) и Советского

Приговор Военной Коллегии Верховного суда СССР. 6 января 1940 г.



Н. Ежов. Ноябрь 1938 г.



СПРАВКА

Приговор о расстреле Бабеля

Исаака Эммануиловича приведен в испол-

нение в гор. Москве 27 5 1940 г.

Акт о приведении приговора в исполнение хранится в

особом архиве 1-го Спецотдела НКВД СССР том № 19

лист № 92

НАЧ. 12 отд-ния I СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
Лейтенант госбезопасности (КРИВИЦКИЙ)

Справка о расстреле И. Бабеля. Архив ФСБ



И. Бабель. 1938 г.

INFO

Бабель И. Э.
Б 12 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 44. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 576 с.: ил.

УДК 82-7
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7
ISBN 5-699-13150-7 (т. 44)
ISBN 5-04-003950-6

Литературно-художественное издание
Исаак Бабель
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том сорок четвертый

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *Л. Гусева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д.

18/5.
Тел.: 411-68-86,956-39-21.
Home page: www.ekamo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 27.09.2005. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура «Букман». Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 30,24+вкл. Тираж 8000 экз. Заказ № 4502602.

Отпечатано с готовых монтажей
на ФГУИПП «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

.....

Отсканировано Pretenders,
обработано Superkaras и Siegetower

FB2 — mefysto, 2023



ПРИГОВОР

Союза Советских Социалистических Республик

Коллегия Верховного Суда Союза ССР

в составе:

председательствующего Армейского Трибунала ульрих

членов: Военного трибунала в КАЛИНИНЕ и ДМИТРИЕВА

и секретаре военном юристе 2 ранга КОЗЛОВЕ

при участии судебном заседании, в гор. Москве

8 января 1940 года, рассмотрела дело по обвинению

ГАЙДЕЛЯ Иосифа Эммануиловича, 1894 г. рождения, бывш. члена Совета

тных пионеров, - в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-

и 58-11 УК РСФСР.

предварительным и судебным следствием установлено, что

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ

ОРДЕР № 3003

Москва 16 Дня 193

Государственной Безопасности

на производство

Гайдуля

Иосиф Эммануиловича

Чкалова-Воробьевская пер

СПРАВКА

Приговор о расстреле Гайдуля

Иосифа Эммануиловича

в гор. Москве 8 января 1940 г.

о приведении приговора в исполнение хранится в

архиве 1-го Спецотдела НКВД СССР том № 12

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Исаак Бабель

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

...Его ругали — это был очкастый,
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убили Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

Илья ЭРЕНБУРГ

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века